



Надежда Тюленева

ЧОЛДОНСКИЕ СКАЗКИ

Рассказано нашей нянюшкой
**ОНИСЬЕЙ ЕГОРОВНОЙ
СУХОГУЗОВОЙ**




КРЫЛЬЯ ДУШИ

БИБЛИОТЕКА ГАЗЕТЫ
Тула • 2025

Дизайн обложки,
вёрстка и дизайн издания
ДМИТРИЯ КУЗНЕЦОВА

*Издание третье,
переработанное и дополненное*

Т64

Тюленева Н. К.

ЧОЛДОНСКИЕ СКАЗКИ. Из пестрой книги сказок. Сказки.
Изд. 3-е перераб.— Тула: Изд-во «Крылья души», 2025.— ?? с.

В третье переиздание включены сказки вошедшие в 1-е и 2-е издание. Чолдонские сказки дополняют этнографические штрихи к описанию этнической общности, населяющей Западную Сибирь.

ББК84(2Рос-Рус)6
Е64

© Н. К. Тюленева, 2025

О ЧОЛДОНАХ* **(от автора)**

Автор избирает третью версию написания — **чолдон**. Западная Сибирь — родной мой край. Знаменитое чолдонское чоканье выдает нас. Чокают даже владеющие правильной русской разговорной речью вполне интеллигентные люди. Чокают как бы в шутку. Как бы «прикалываясь», а только и слышишь: «чо» да «чо». А уж чолдонский юмор! Наш, подчас повергающий в шок юмор: «А ты по чо меня шабаркнул кирпичиной по плечу? А я по то тебя шабаркнул — познакомиться хочу». И какая в то же время заботливость, почти нежность: «Милка, чо? Да, Милка, чо? Осерчала ты на чо? Али люди чо сказали? Али выдумала чо?» В особенностях чолдонского говора выпирают и оканье, и ёканье, но это есть и в северном, и волжском диалектах. Но **ЧО** — это почти как **тавро на табуне**, прошу простить невольную экспрессию чолдонской речи. Конечно, так, как говорят герои моих **«Чолдонских сказок»**, сегодня вживую уже не говорят. Но я-то с детства слышала именно живой чолдонский говор. В том числе и от Онисьи Егоровны Сухогузовой (бывшей нянюшки старшего поколения в нашей семье), и от своих соседей по нашей главной деревенской улице Верховка в селе Раскати-ха. Да в общем, с кем ни столкнешься, бывало! Автор надеется, что вам, уважаемые читатели, уставшим от канцеляризмов, англицизмов и всяко-разных идиотизмов нынешнего общения, не будет скучно читать «Чолдонские сказки»!

Чалдо́н, челдо́н или **чолдо́н** — название коренных русских в Сибири и их потомков. Постоянное население из числа переселенцев из Европейской России, сложившееся в Западной Сибири к концу XVI, началу XVII веков.

ПРО КОЛОКОЛЬЧИК И АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Жили да поживали старичок Пашко да старушка Малашка. И возрастал у них поздний сынок, Коляшка. Болтливый такой мальчонка. Целый день пустое мелет, будто в колокольчик звонит. Бом да бом, тилим-бом! Когда и приврёт ещё, да так складно!

– Поври нам весело, Коляшка! – попросят иногда люди. – Мы тебе пяточок дадим! Ты себе рожок купишь, на музыке играть станешь, считай, ещё пяточок...

– Я себе рожок и сам сделаю. А вот на пяточок матушке-батюшке пряничков с имбирём куплю! – смеётся Коляшка, рад не рад, и врёт себе в удовольствие, народу в потешку. – Вот, стало, взял я у батюшки Пашка кнутик и пошёл на зайца охотиться...

Едва Коляшка рот откроет, а люди уже друг на друга валяются от смеху:

– Ой, умереть!.. С кнутиком!.. На зайца охотиться!..

– Иду это я тропинкой через поле, – продолжает Коляшка, – вдруг мне наперерез заяц вылетает. Я арапничком как жиганул, – хвост зайчишкин петлёй захлестнуло, тут я косоглазого и заарканил. Взял его на поводок и веду домой. Как собаку поскакучую. Вот вам крест!

– А иде же она таперь твоя собака косоглазая?! – изнемогают люди от смеха.

– Убёг такой-разэтакой! А всё батюшка-матушка виноваты... Я когда на охоту шёл, велел батюшке Пашку к моему приходу конуру изладить. А матушке Малаше наказал, что как только мы с зайцем в ограду зайдём, чтобы тут же мигом ворота покрепче закрыла. А оне, родители мои, не поверили мне: батюшко конуру не изладил, матушка не подвинулась ворота запирать. Убёг-убёг зайчишко! А то бы вместо Трезора нашего, что помер от старости, двор стерёг!

– О-ох, нет моченьки, – заливаются люди, – зайца – заместо собаки! Да что там стерегчи-то у вас?!

– Как что?! – удивляется на людей Коляшка. – А сон батюшки да матушки!.. Они же у меня старенькие. А сон старого человека, знаете, какой тонкий?! От одной чужой неловкой мысли оборваться может!

– Ой, брешет, как чешет! – умиляются люди. – На тебе пяточок, Коляшка, да соври ещё что, потешь душу!

– Сколько раз говорить вам, – обижается паренёк, – я не вру...

И вот как-то опять пристали:

– Ох-хо-хо! Скучно штой-то! Колян, повесели мирян: скажи правды на пяточок – получишь гривенник!..

– Правду я задаром скажу, – смеется Коляша, только слушайте ухом, а не брюхом. – И начинает:

– Вот дал мне коева дни Царь-Восударь карету свою царскую, со гербом царским, и лошадей своих царских, как снег белых – шестерню!..

Будто гром в майском небе загрохотал – люди разом в хохот ударились: дурак это, что ли, Царь-Восударь, чтобы дурачку свою карету с шестернёй лошадей доверять?!

– Дурак иль не дурак, дурачку иль не дурачку, – а дал! – не обиделся и не рассердился Коляшка. – И приказал мне ехать: туда – не знамо куда; и привезти то – не знамо что, чтобы только спасти его больную дочку Виолку.

– Во-от брешет, как бреет, – осерчал народ, поняв, что осечку дал со своим хохотом – вышло ведь так, что как бы это над царем-батюшкой потешаться начали. Да ведь чумовой этот Колян, чумовой, несёт сплошную несусветицу!

– А то у нашего кормильца поумнее да половчее тебя слуг не нашлось, Колян, – вздумал кто-то сразить малого резонном.

– Находились, – развёл Коляшка руками. – Только из умных-то кто дороги не знает – покажи им, у кого духу не хватает – ведь же незнамо что искать-то... А незнамо куда – это дальше, чем к чёрту на куличиках...

– То верно, то верно, – закивал народ.

– Только от какой же хвори ты лечил цареву дочь, Колян, ежели она здоровым-здоровёхонька по своим ранжереям гуляет? И садовник сказывал, не просто гуляет, а иной раз и сама робит – следит за кажинным цветочком, белых царских ручек не боится землицей измарать.

– Была, была у неё болеть одна, у Виолки, – снисходительно улыбнулся Коляшка. – Замуж её Царь-Восударь вытурить не мог. Антиреса к кавалерам у неё не было никакого, никто ей не глянулся и всё тут!

– А теперь? – вякнул кто-то боязливо, – ай, кто приглянулся?

– А как жо, – Коляшка обвёл слушающих значительным взором. – На чо ж бы тогда я незнамо где да и незнамо что искал! – Помолчал да ещё разок всех гордым взглядом обвёл. – Это я, християне, на царёвой дочке жанюсь!



Тут уж народ звереть начал, переходя с хохота на рык:

– Паря, ты ври-ври да не завирайся: хто есть такое ты и хто – царёва дочка!.. Ну, вапше!

Коляшка опять не обиделся, а переждав рёв и шип, как о мало стоящем внимания, прибавил:

– Завтра, между прочим, и свадьба. Царевна Виола сама назначила – я перечить не стал. Так что всех на почестен пир приглашаем, добро пожаловать царского меду испить. Ведь на ваших глазах, на ваших пяточках я возрастал, все вы мне – вроде родня, граждане християне!

– А скажи, Коляша, (у тебя ж в кармане – одна вошь на аркане), чем ты царёву дочку взял? Чем прельститься она могла?

– Не-э, – замотал своей светлокудельной головой Коляша, – меня моя мамашенька-Малашенька смала чисто водила, вошек у нас никогда не бывало. И это не я на Виолку позарился, а она меня, стало, выбрала. Потому как с другими ей скучно, а со мной веселья искать не надобно. Вот так, християне!

– Чо да, то да, дурачок ты наш, – умилился народ, – верно, не заскучаешь с тобой, Коляшка, но всё же не получишь ты обещанного гривенника: тебе правды на гривенник заказывали, а ты несуразное сбронил. Не верим мы тебе: потому как если даже про карету, лошадей и излечение царевны как-то похоже на весёлую побасенку, но уж про то, что царь сулил тебе ещё и полцарства вридачу – сущая клевета. За этакую и в кутку попасть может тот, кто балабонить про такое затеет. По краю со своими шуточками ходишь! Не дурак Восударь данное дураку слово держать. А ежели и впрямь в оговорочку посулил, уже один пустой посул должен ты за великую милость держать и тем довольствоваться, вспоминая всю жизнь.



А Коляшка-то, ну, что с дурачка возьмёшь, подался-таки во дворец, стал припирять государя: «Что это, батюшка-Восударь, не пахнет свадебкой? Приготовлений никаких не видно?! Ведь я, что ты повелел, сотворил... Говорил ты прилюдно: «Кто мою дочь Виолку вылечит, тому в жены её отдам и полцарства впридачу!» Говорил или нет? Вот и выполняй! Хотя полцарства твои мне не надобны!»

– Так я-то разумел, Миколаша: если Виолка сама пожелает... Благородный кавалер не станет же девушку против её воли брать, – пошёл на попятную царь, – что ж она у тебя каждое утро обливаться слезами будет?

– А ты спроси дочурку-то, царь-Восударь, – ухмыляется Коляшка. – Она пожелает – И стоит такой, в себе уверенный.

Куда царю деваться: не давши слова – крепись, а давши – держись. Позвали Виолку. А та как увидела дурачка, с разбегу к нему на грудь, заголосила: «Коля-Коля-Колокольчик, Колокольчик дорогой! Наконец-то мы, Коляша, обвенчаемся с тобой!» Царь тут же в обморок – хлоп! Часа три так лежал. Никто не суетился, ждали, когда сам в самого себя придёт. А Виолка-царева дочь к малому взобралась, кудри его светлокудельные царскими своими ручками разбирает, в очи синие целует, а он ей приговаривает:

– Ну, какая же ты, прости Господи, Виола?! Анютка ты, анютины твои глазки: ты хоть знаешь, что один глазок у тебя – янтарный, а другой – бирюзовый? Анюткой я тебя и звать буду! – И целует Анютку в анютины глазки.

– И ладно, – смеётся царская дочь, – как будешь кликать, на то и отзовусь.

Не выдержало такого поворота царской жизни Восударево сердце, запеклось, почернело от горечи.



Понял Восударь: самому ему не восстать супротив любимой дочери. И призвал он на подмогу свою старинную приятельницу, злую-презлую дворцовую колдунью, ворожею Секлетею. Ту давненько уже ко двору не звали. Восударь и так был человек покладистый, а с рождением дочери, да ещё после того, как жену похоронил, ещё больше подобрел, и случая воспользоваться услугами Секлети не подворачивалось. И вот – оказия!.. Ох, как обрадовалась, как возликовала, сколько же лет ждала ненавистница, что придёт корявый час – вспомнят и о ней! Нимало не замедлилась, явилась не запылилась. Ошалела от радости – царя в полуха слушает, на дочь царскую в полглаза глядит. «Ладно, ладно, всё поняла, кормилец! Всё исполню во всесовершенном виде! – шепчет на ухо царю. Пусть только в полдень оба-два вместе в царский сад-виноград погулять выйдут. А уж я всё-всё облажу».

– Я тебя за это, Секлетей, золотом обсыплю, – сулит колдунья царь. – Ты только изведи мне под корень этого пустозвона!

– Ох, голубец, не учи учёного! – хихикала и жеманичала Секлетей. – В обед мне уже чарку царскую поднесёшь – от большей благодарности. Золотом обсыпать не надо. Я тебе, кормилец, завсегда послужить рада-радехонька.

Полдень близится – царь велит дочке ласково, но с какой-то тоской в душе:

– А ты почему, Виолонька, жениху наш царский сад-виноград не покажешь? Подите-тко, разгуляйтесь!

– Ба-атюшка! Ты больше не сердишься?! – так и запорхала Виола вокруг отца. – И супротив Миколаша сердца своего не знобишь?

– Не зноблю, – пробормотал Восударь, глаза пряча.



И пошли Анютка с Миколашей в любимую невестой «ранжерею» гулять. За руки сразу жадно сграбастались – будто вот сейчас их прямо морем-окияном разливать будут, идут – лицами друг ко другу поворотились – как подсолнушки ко светлому лику Ярилы. Идут – ногами земли не чувят. Идут – как по воздуху плывут...

А в это время у Секлетеи доваривалось её варево. И что-то не выходило у злодейки. От долгого простоя мешаться в голове что-то стало. Ну, кое-как доварила. Вылила в стекляницу, понеслась в царский сад-виноград. И как раз ко времени. Навстречу ей из ранжереи царская дочь с дураком-избранником. Под ручку плывут, жизнь есть сон! Секлетею в упор не видят.

– От и ладно, даже лучше, что не видют, – бормочет себе под нос Секлетья, и, хлясь, из стекляницы на Миколашку! – От тебе, пустозвон! Век тебе звонить не перезвонить в твой колокольчик!

В воздухе и впрямь что-то тонко и нежно так задилиньдонило... И Виолка уже одна стоит на тропинке – и только синий колокольчик перед ней тихо-тихо покачивается и синим колпачком край сарафана её задевает. Утешительно так вызванивает: «Дилинь-дон! Жизнь есть сон! Дилинь-дон! Жизнь есть сон!»

Царская дочка охнула, ручки свои царские – к сердечку, к глазам, к горлышку: «Ах! Ох!» – ну, прям сейчас дух испустит. «Щас, щас, деточка, успокойся: я из тебя вышибу память-то об этом пустозвоне!» – и из другой стекляницы – хлясь, на Виолу. Да чтоб покрепче, понадёжнее – другой раз – хлясь!

А сама аж взмокла от усердия. Да, видать, переусердствовала. Вышибла не память, а дух из царской дочки.

Тут рядом с Колокольчиком вырос из земли курешок. Всеми своими сердцеобразными листиками прижался нежный маленький цветок к высокому су-

ховатому стеблю Колокольчика. И смотрел снизу вверх на него беспрдельно- печальными бархатными очами: один глазок – жёлтый, другой – фиолетовый.

А народ уже на царский двор набился, в сад-виноград начал притекать – диву дивному хотел подивоваться, на свадьбу полюбопытствовать: как царскую дочь под венец поведёт хрестьянский сын Коляшка-привиращка.

Но дива особого и не увидели. Увидели простое, житейское: богатый старик сошёл с ума, потерявши единственную любимую дочь из-за свой безумной жадности.

Старички-хрестьяне, Пашко с Малашей, тайну одну вызнали. Научились раз в году, на Ивана Купалу, вызволять своих ребят, Миколашу с Анютой, из-под колдовского гнёта. Выйдя из своего цветочного облика, целую Купальну ночь, длинный летний день и ещё ночь, гостили молодые в стариковском утлом доме: мыли, скребли, убирали берёзовыми ветками, букетами из колокольчиков и анютиных глазок, усыпали полы мятой... И день этот светил и грел Пашка с Малашей целый год – сколько ни послано им было веку.



ПРО СОЛОМОНОВУ ПЕЧАТЬ, АМАРИЛИСА И ДОЧКУ ИХ КУПЕНУ

У княгинюшки-то Соломоновой Печати и князя Амарилиса росла-возрастала дочка Купена, да такая красотулька, что, казалось, краше этой девчоночки ещё и не рождалось на свете да, пожалуй, и родиться-то такой второй не может. Родители, родня заходились от восторга, и только одна старая нянька Фотя крестила красотульку украдкой: «Ещё Бог ума бы дал, хучь бы не корыстного».

Голос у маленькой княжны удался звончей ручейка хрустального, руки – легче крыльев бабочки, ходит – травы-муравы не примнёт. Така пава. Да вот беда: детски-то радости в радость княжне не были. Ни игрушки, ни подружки, ни качели-карусели, ни забавы-потешки – плечиком дернёт и отведёт свои прекрасны глазки, мол, и глядеть не на что!

Одному лишь с упоением предавалась, гуляючи в бесконечном, как лес, княжеском саду: цветы – в самую их душистую душу целовала, да пению птиц с замиранием внимала, а уж они-то как радовались ублажить княжну, слетаясь к ней целыми хорами. И часто ясные очи Купены блистали непроливающимися слезами.

Родителя умилялись всему, что ни видели в своей красотулке. Только старая Фотя ласково выговари-

вала княжне: «Ну, что ж ты, дитятко золотое наше!.. Как диконька, всё по зарослям-то блукаешь!»* «Хочу – и блукаю! Не хозяйка я себе, что ли?! Фотья ты, бестолковая!» – и повернётся княжна к няньке спиной. – Поди прочь из саду – не подглядывай за мной!» А подглядывать-то не мешало бы.

Первую утреннюю свою прогулку по саду Купена, как у ней заведено было, раненько совершала. И вот так-то идёт она по росной тропинке, вдруг прямо перед нею бугорок земли с лёгким хрустом проламывается, и вырастает перед княжной дикая пёстрая лилия, саранка называется. На высоком-высоком стебле. Стоит и чуть-чуть покачивает своей с неприбранными рыжими кудрями головкой.

Повнимательнее глянула Купена на дикий цветок, а это и не цветок вовсе, а высокая тоненькая женщина, в сквозном тигрово-пёстром платьице. И смотрит на княжну так, будто сердце её читает. «Чо за тётка-оборотень? Чо ей в нашем саду? Нянька Фотья, куда спряталася?» Испугалась княжна, побежала к дому, споткнулась, в траве запутавшись. А сзади за нею смех – ласковый и ехидноватенький. Поднялась княжна, подол, обзеленённый влажной травой, поправила.

– Да ты не белей, не белей, дитя! Не бойся меня. Я ведь родственница твоему отцу, правда, дальняя: Лилия Тигровая.

– Ах! – сжалось от страха сердце княжны. – Тигровая же Лилия – злая ведьмачка! Сколько раз меня Фотя щуняла*, чтобы я одна в дебри сада не забиралася...

– Тебе, дитя, небось всякое плохое про меня говорили? Да? – непрошенная гостья смотрела в упор;

Блукаешь* – блуждаешь.

* щуняла – учила

тихим, ласковым был её голос, а длинные тонкие губы странно кривились. Улыбка на дразнилку похожая. На солнышке глаза её становились ярко-жёлтыми, как у обычной кошки. Она жмурилась на солнышко, и глаза её то расширялись, то сужались. И это просто завораживало.

– Бедная глупышка! Ну, скажи мне, Моё Ликование, отчего ты так грустна? Небось, закармлили тебя сладостями заморскими, засыпали игрушками диковинными, велят резвиться с толстыми барчатами, а ты норювишь в сад убежать и целыми днями одна тут гуляешь.

– И откуда только дозналася-то? – прошептала княжна. Так точно её угадали. Страх у Купены почти прошёл, и ей с каждой минутой делалось всё веселее.

– Цветы и птицы мне всё рассказывают.

– Ой-ё! Пра-авда? – вот уже и засмеялась княжна.

– Правда-правда. Ну-ка, расскажи мне про свою главную мечту! Впрочем, я сама тебе её назову. Та-ак... – длинным сухим пальцем Тигровая Лилия поддела подбородок княжны, заглянула в глаза.

Никто никогда не задавал Купене такого вопроса: не ясно ли, что одна мечта должна быть у княжеской наследницы – чтоб посватался к ней какой-нибудь Царь-Восударь из богатого царства-государства.

– Тебе очень хочется... Летать? Так? Угадала?

– Ой-ёченьки! – княжна закрыла ладонями сердце, – я готова умереть, чтобы хотя один-разъединственный разок в небе побывать, долететь до Моря-Окияна, острова Буяна, увидеть, куда Солнышко на покой заходит, откуда выходит Луна и где Звёздочки днём отдыхают... Ах, мне бы – крылья-крылушки!..

– Дитя моё ненаглядное, – обняла Тигровая Лилия княжну, будто холодными листьями обвила, – я могла бы тебе помочь... Но...

– Чо за «но»-то? Како там «но», Тётушка, ежели я сама желаю?!

– Но как же ты себе это представляешь, Моя Прелесть? Ведь летучих людей не бывает... Хотя понимаю твою обиду – есть же летучие мыши... И если могут летать такие никчемушные твари, почему не летать Венцу Творения – Человеку?.. И всё же, где это видано, где это слыхано – крылатые люди?! Нет, я не могу приделать тебе крыльев... Однако... Однако, моего волшебства хватит, чтобы обратить тебя в птицу. Только вот, к сожалению, превратить тебя обратно в человека я не смогу... Обратное превращение мне не по силам.

– Ой, да, ну, и чо же! Это ещё даже антиреспеее. Вот уж диву дадутся родители! – изнемогла от восторга княжна. – Пушай я буду птицей навсегда. Небо – это же незнамо как распрекрасно! Всегда простор. Воля. Никтошеньки к тебе не лезет: «Ешь то! Пей это!» Никто тебе не указ. Куда захочу – туда полечу!

Тигровая Лилия усмехнулась:

– Но небо, скажу по секрету тебе, Моя Чудесница, это – стихия. Она не каждому даётся... не каждому!..

– Я сказала! Я готова. Я решила, милая Тётушка! Ужо превращай меня в птицу!

– А борьба за существование, Моя Бесценная? – как бы засовестилась Тигровая Лилия, будто и впрямь стало жалко маленькую княжну. – Нет, Моя Пресветлая, не могу брать на себя грех, пользуясь твоим минутным настроением.

– Никако оно не минутно! Я мечтала об этом всегда, с той поры, как появилась на свет! Мне скучно здесь, мне здесь воздуха не хватат!!! – в слезах кричала княжна.

– Всё равно вот так просто я решить не могу. День даю на размышление. А в полночь, едва часы на

дворцовой башне ударят последний, двенадцатый раз, беги сюда, в сад и вот в середине этой клумбы посади это моё зернышко, присыпь его горстью белой золы – вот она, в узелочке, и возвращайся в свою светлицу. До рассвета. А утром с шестым ударом курантов поспеши сюда в сад. По пятну золы, которой присыплешь зёрнышко, найдёшь заветное место. Срежешь бокальчик только что распустившейся Белой Лилии, соберёшь в него росу с цветка Мака и польёшь посаженное ночью зёрнышко. Потом постой минуту и подожди, что будет...

Промолвив всё это, Тигровая Лилия исчезла. Только блестящее коричневое зёрнышко да узелок с белой золой в ладонях княжны подтверждали, что всё произошедшее не было сном.

В этот вечер княгинюшка Соломонова Печать и князюшка Амарилис не могли нарадоваться на свою красотульку: как все обычные ребятки, она и с куклами повозилася, и в горелки с детьми побегала, и всякие сласти пробовала да нахваливала, а под конец так расшалилася, что скатерть с чайной посудой и всякими вкусами со стола сдёрнула, и хоть и княжеская дочь, а впервые в жизни была поставлена в угол носом. Правда, всего на минуточку... Князь и княгиня с мокрыми от слёз, счастливыми глазами смотрели друг на друга: «Ой-йё! Наконец-то и у нас – ребёнок как ребёнок!» Дочь ласкалась к отцу и матери: то у одного на коленях посидит, то у другого. По лицу ладошками гладит, целует, придумывает им всякие имена:

– Золотцо ты мое кровное, матусенька, Соломонова Печаточка! Батюшко ты мой, Заревой ты мой Фонарик! Ненаглядны вы мои!..

– Ахтенки! Что же это, что такое с нею сталося?!

Страшуся радоваться, – шепчет над заснувшей в своей светлице княжной Соломонова Печать. – А что как встретила она днём в саду Тигровую Лилию?

– Ну, перво-наперво, пока я жив, сюда она не сунется, – успокоил князь супружницу. – Опять же рассуди, стала бы она на благое наставлять нашу дочь?! Да ни за какие коврижки! Просто бы украла её! Но ты же видишь: красотулька наша жива-здрава, и как никогда весела!

Обнявшись, родители пошли в свою опочивальню. И пришли к ним воспоминания. Уже готовились к свадьбе, Соломонова Печать изливала душу матери:

«Судьбу-то свою на кривой козе не объедешь... Кабы мне знатьё было, что Амарилис с Лилькой Тигровой обручённые, я в сторону его и не посмотрела бы! Да я только разик один и глянула на него! Да как на грех, встрелся он со мной глазищами своими – и пропал, и тут же как будто никогда и не знал этой Лильки... Я тому рада была не знамо как, а узнавши, что оне – сводные брат и сестра, и вовсе спокойная сделалася – не к добру же, говорят, жениться ли, замуж ли выходить за родственников... А тут – одного отца дети... Лилька плакала, а я ещё ободряла её: «Не реви, дурочка, всё одно, ничо доброго у вас бы не вышло. Ещё родился бы хилой робёночек». Тигровая только и ответила: «Рано радуется!..»

А князь Амарилис как наяву увидел зарёванную Лилию-Саранку с растрёпанными рыжими кудрями. «Что же я, бедная, хотела не на свой кусок роток открывши! Мы же из простых диких Саранок, это я так только вздумала Тигровой-то величаться, а сама как есть Саранка-цыганка. Соломонова-то Печать вона из какого рода, одно слово – бела кость. Ну, и любитеся! Я поперёк дороги вашему свадебному поезду

не брошуся! Только не знаете-не ведаете, как мои-то горючи слёзоньки вам аукнутся!»

Исправно в полночь забили часы на дворцовой башне. Княжна услышала их сразу, первый же удар. Но так нежна и тепла была, так уютна её княжеская постелька! «Встану после шестого удара», – подумала Купена, потянулась сладко и белы рученьки под щёчку положила. И тут двенадцатый удар раздался, будто со значением, с длинным самым отголоском. «Да что изменится, если я утром посажу моё зёрнышко? Сейчас в саду так темно, холодно и сыро. Я, может, даже не найду той клумбы. Даже вообще заблудиться могу... – вон ведь в какой глухомани это место – через весь сад тащиться. Правильно, на рассвете всё будет виднее и веселей... Что я, сова какая в сам деле или филин, по ночам носиться?!.. Вот интересно, в какую птицу оборотит меня Тётушка Тигровая Лилия (только она одна меня по-настоящему понимает) – может, в Белую Лебедь? Или Розового Фламинго? Ну, не в Ворону же – такую-то хорошенькую девчоночку! – рассмеялась княжна, поворотилась на другой бочок и сладко заснула.

Утром она сделала всё, как наказывала ей Тигровая Лилия. Потом встала рядом. Ждёт. Нетерпеливо смотрит на влажное пятно в центре клумбы. Вдруг оно колыхнулось-ворохнулось и выстрелило жёлто-зеленым, как будто восковым, прозрачным стеблем; взметнулась на его верхушке пёстрая метёлочка и тут же превратилась в гроздь крупных, тигровой расцветки – оранжево-жёлто-розовых в коричневую полоску панамочек; и престранно они себя вели – хлопотали и крутились, ни дать ни взять маленькие пёстрые птички.

Зачарованно смотрела княжна на цепь превращений, и сердечко её вдруг защемило от предчувствия

беды... «Может быть, пока не поздно... – зашептала она дрожащими губами. Ещё она успела подумать: этот цветок похож на стайку колибри...». А дальше у неё закружилась голова. Из уст вырвалось хриплое, отрывистое «Кхук! К-ку-к», и княжна почувствовала, что взмывает вверх, а тело её всё уменьшается и становятся длиннее руки-крылья. И вот она уже над лесом, и ей открывается отблескивающая розовым голубая атласная лента реки на зелёном холсте лугов, и бредущее красное коровье стадо, и пастушок, вынимающий из-за пазухи свирель...

– Ах, как же я мило придумала – стать птицей! – успокоилась княжна. Она с интересом посмотрела сначала на правое, потом на левое свои машущие крылья. – Кажется, кукушка... Ну, да, кукушка! И ведь я уже куковала... – ей вспомнился собственный возглас, похожий на вскрик дровосека, которому досталось суковатое полено: «Ух! Кхук!» Княжна опять попробовала свой некогда такой чистый хрустальный голос. И в солнечном радостном пространстве раздалось несуразное: «Кху-ку. Ку-ку-кхук!» Купена рассердилась: «Да что это, Тётушка! – уж не могла превратить меня в птицу с приятным пением – соловья, жаворонка, малиновку! Даже канарейка была бы приятнее!» Рябенькое, как застиранный ситчик, оперение тоже не привело княжну в восторг: «Даже снегирь или синица – и то было бы наряднее». Но крылья – большие и сильные – примирили Купену с её новым обликом...

Княжна взлетела высоко-высоко, попала в тёплый поток воздуха и вольно расположилась в нём, распластав крылья. Крылатая, с упоением купалась она в воздушных струях, и обгоняло её в полёте хриплое ликующее «Ку-ку!!!»

Так было весь день. Но к вечеру, когда спустилась прохлада и солнце покатилося на покой вдоль реки, княжна было устремилась следом. Однако, как ни медленно оно катилось, догнать солнце оказалось невозможно. И тут сделалось темно. Тьма застала княжну на краю поля, подходившего вплотную к берегу, глиняному и крутому.

«Где же мне ночевать-то?!» – с ужасом спохватилась княжна. – Ещё кушать так хочется! А как же другие птицы?» – и горестно задумалась.

Тут заметила княжна, почти угадала дырку в тёмном береговом склоне. Присмотрелась – а там рядом вторая, третья... Много! Целая сеть дырок! И в них ощущалась жизнь.

«Это норки! – обрадовалась княжна, – и в них кто-то живёт!.. А раз живёт, значит, у них есть еда! Неужели не покормят? Не угостят?..»

Княжна сунулась в норку и тут же получила щелчок.

– Уж эти бездомовные кукушки!..

Купена наконец-то поняла, что с ней случилось.

И всё же кое-как княжна-кукушка приспособилась к новой жизни. Где ягод поклюет, где мошку схватит, где червячком разживётся, где росинку с ландыша сглотнёт...

– Ты, красавица, на юг полетишь или здесь зимовать останешься? – спросила её однажды мать многодетного семейства, куропатка.

– Не знаю, – пролепетала княжна, а вы?

– Ну, мы – особь статья: мы – на север, – важно отвечала куропатка. – Вот ваши, как правило, в южные края отбывают.

– А не как правило?

– Кой-кто здесь остаётся. Выжидают, когда чужое

жильё ослобоницца*. Ну, это уж считай, последнее дело – в чужие дома без спросу вламывацца. Я смотрю, ты не ахти какая летунья, лучше бы тебе, времени не теряя, своё какое-никакое жилишко построить: вон сколько сухостою в ближней берёзовой роще, в бору за рекой – богатый мох, мох, как мех! За излучиной реки така глина – лучше всякого клею!..

Безо всякого рвения, без радости, неумело, кое-как-наперекосяк взялася кукушка ляпать своё гнездо. Сколь с утра наробит, столь к вечеру у неё то ветром разнесёт, то дождём размочит. Не хватает терпению у девки – бросила затею Купена, взялася ждать, когда чей-нито** домик освободится. Чуток, и птицы в заморские края полетят. Сама она никуда лететь не собиралась. Не то, чтобы ей расхотелось в дальних краях побывать, а просто поняла: не выдержат дальнего перелета её ситцевые крылья. Так незаметно для себя самой княжна ещё раз отказалась от того, ради чего поменяла свой облик.

И вот опустели просторы, затихли поля и леса, вымерли луга, и множество гнёзд, нор, домиков освободилось. Но куда ни сунется, никакого жилище ей не годится – ведь каждый хозяин готовил его только под себя. Одно мало, другое велико, в третьем лаз такой, что не проберёшься... Так однажды застряла, влезая в скворечник, что едва не померла. Хорошо, погодилась*** рядом сорока.

– Это что за чуда-юда в перьях?! – застрекотала она и выдернула Купену за хвост из скворечника. У той только пёрышки посыпались. Зато спаслась.

Жила она теперь мечтой: как бы встретить свою

*ослобоницца – освободится.

**чей-нито – чей-нибудь.

*** погодилась – оказалась.

тётушку Тигровую Лилию. Но вот и новое лето пожаловало, зацвели в лесах и лугах пёстрые саранки. Кукушка летала от цветка к цветку, заглядывала под пёстрые чепчики и панамочки, спрашивала про Тигровую Лилию: не видал ли кто, не слышал ли?..

И как-то в полдень видит: пастух стадо к реке пригнал, устроился под ракиным кустом на бугорке, торбу свою развязал, лепёшки достал, собачку-помощницу свою свистнул. Та деликатно в сторонке сидела, один глазок – на стадо, другой – на хозяина, неужто не оценит её прилежания? Оценил. Оторвал кусок лепёшки, поманил. Примчалась собачка, лепёшку схватила и на своё сторожевое место убежала. И ест, и скотинку из вида не упускает.

Купене-то сверху широко всё видать. Как старуха какая-то с клюкой по тропинке кособочится. Пастух окликает её:

– Ты, что ли, баба Фотя? Айда, посиди со мной, лепёшкой угощу, кваску налью!

– Спаси, Господи, Арсенко! Возмужалый какой ты стал, мужиком совсем хочешь быть!

А Купена притулилась к развилке ракиты, слушает, смекает, может, крошки какие и ей перепадут.

– Хочу, хочу мужиком быть, – смеётся Арсенко. – Уж и жаницца бы надо, да невеста всё как-то не находится. Господи, что ты така несмелая, жуй, не стесняйся, баба Фотя! Ты совсем кака-то щупленька да маленька сделалась, смотрю – клюшка твоя тебе и то в тягость... Ты завтра приходи также к полудню сюды, я тебе хорошу, лёгоньку палочку излажу...

– Утешь, утешь, Арсенушко. Чой-то совсем утлая я делаюсь.

– А из дворни-то широкой княжецкой уж никто не сдогадался тебе деревянну подружку сотворить?

– Какой дворни, Арсюшко! Где дворня и где таперя я? Меня не то что из дому, а и со двора-то согнали!

– Прогневилась чем? Кака така вина?

– Да вина всё та же, единственная – вине той уж сколь лет! – дочь княжецку в лихой час не досмотрела. Вина и впрямь смертная!

«Во-от оно как! – княжна чуть с ветки не упала. Прямо в пастушьей торбе очутилась бы. – Так вот эта нянька моя, Фотка, така закорюка сделалась! И поделом, что согнали! А то я скитайся – а она бы в сыте-тепле жила!»

После этого случая Купена совсем как бы помешанная, по лесам-рощам носится, то почти над самой землёй – как бреет, то по-над лесом полощется. И кричит – будто душу вынимает, кличет Тигровую Лилию: _Ку!..Ку-ку! Ку!

Только эхо передразнивает. Тяжело отмахивается крыльями от берёзы к берёзе княжна-кукушка. И вот, охрипая, капли сил уже не имея, свалилась на поляне. Маленько отлежалась, глаза открыла – стоит перед нею Тётушка. «О-о!!!» – выстонала Купена.

Тигровая Лилия молча выслушала её причитания. Угрюмо отрезала:

– Я предупреждала.

...Княжна прорыдала:

– Предупреждала она! Кого ты предупреждала?! Я же малой робёнок была! Что ты со мной сотворила?

– Сколь, снявши голову, по волосам ни плачь, обратно голова не прирастёт, мертвы волосы в косоньку не заплетутся.

– Ну, тогда... хотя бы с матушкой-батюшкой повидаться...Тётушка Тигруша, сожалься!.. За все годы не видался...Как к родному дому подлетать – так ровно невидимая страшная сила не пущат, бьёшься-бьёшься в невидиму стену... Безо всякого толку...

– Моё Ликование, ты воображаешь, что представишь пред ними той же красотулькой? Вы не узнаете друг друга.

– Я устала, Тигруша, я больше не хочу жить, – еле слышно всхлипывала Купена. – Сотвори хоть что можешь...

Тигровая Лилия почти жалеючи смотрела на неё:

– Хорошо. – Тигровая Лилия надолго замолкла, потом стала ронять слова, как тяжёлые камни. – Когда твои родители будут умирать, я не дам исчезнуть их дыханию и сделаю так, что на земле будут жить цветы Соломонова Печать и Амарилис. А тебе уготована участь переродиться ещё раз – в Кукушкины Слёзки. Вот и будете всегда рядом. А больше я ничего не смогу.

– Спасибо, Тигруша, ты подарила мне покой, а больше мне ничего и не надо, – совершенно искренне вырвалось у княжны Кукушки.

Но даже в сказке происходит не всё то, как задумано. До конца было ещё далеко.

Прошли-протекли друг за другом, как дурной сон, осень, зима, явилась весна. Невесомый океан тёплого света затопил землю. Дожди, радуги... Мир сиял и радовался жизни. Лес вибрировал от ликующих птичьих голосов. Все этажи леса были заняты вдохновенным строительством, на всех уровнях вились гнёзда, подправлялось старое жильё. Одна Купена, как неприкаянная, мельтешила между деревьями туда да обратно, шур да бар*.

– Вот бездомовная! – летело за ней.

– Это она присматривает будущих родителей своему будущему кукушонку.

Погляньте, чисто шпионка, в гнёзда заглядывает!

*шур да бар – туда-сюда.

– Как только со строительством закончат и начнут добрые птицы яички откладывать, эта бездомовница тут же кому-нибудь своё яйцо подложит! Не углядишь.

– Никак не хочет своё потомство сама воспитывать!

Купена всё это слышит и обидно ей, хочется выкричать свое горе:

– Хорошо вам – вы все мужейные, а я одна мыкаюсь, нет мне поддержки ни от кого. Сама-то досыта не наедаюсь. Сегодня все крылья истрепала за мошками гоняючися... Отдохнуть бы надо.

Завертелась в поисках укромной развилки и – подкосили тут княжну- кукушку.

Шла через рощу ватажка ребят. Один похвастался: «У меня рогатка есть и горох. А давайте пострелям!» Другой тут же схватил оружие и снаряд и выстрелил, не глядя: «Куда Бог пошлёт!» Послал не Бог, а тёмный дух. И попала ядрёная твердокаменная горошина в Купену.

Пастух Арсенко и его собачка не потерпели такого бесчинства. Арсенко свистнул, кнутом щёлкнул, собачка ребят разогнала. Арсенко сбитую птицу поднял. Уже не дышала. «Кукушечка! – вздохнул Арсенко. – Красивая!»

И сделал из кукушки чучелко. Так удачно. Как живая Купена вышла, вот сейчас закукует. Посиживает себе в тепле, на свету, все ею любят. Из ненавистников и фулиганов – один кот. Но от него кукушку на ночь абажуром закрывают. Ни о чём она не горюет. Ничегошеньки ей не надобно. Память её как есть промытая с песочком досточка. О родителях Купены Тигровая Лилия позаботилась – сдержала своё слово. Красуются неувядаемые Соломонова Печать и Амарилис в заповедном саду. И она чуть в сторонке – Тигровая Лилия. Отдельно и всё же навсегда близко.

ПРО ГОРОХОВО СЕМЕЙСТВО

У Гороха-то Петровича, распробедного хрестьянина, и жены его Верблюжьей Колючки, было три сына и три дочери.

Как старшого-то звали Донником. Стройный да высокий, да на ногу лёгкий, любил он дорогу, особенно ежели она через луга и поля в ме-доносном цветении пролегала. Подросши, нанялся на выселках пасечнику помогать. Мальчонка он был чистенький, себя в аккурате держал, жил согласно тому, как хозяином пчельника заведено. Неутоми-мых тружениц крылатых, бывало, не потревожит ни громким голосом; ни руками без причины не восплещет; у него веточка под ногой не хрустнет, галечка не прошуршит. Пчёлки Донника признавали, он даже и без ды-маря с ними занимался – они его не жалили.

Средний сын, Дрок, крепкий да славный, охотник до шутки забавной, смала приохотился над красками колдовать, а смешивать их у матушки-Природы приглядывался. Словно незнамо каким чудом, любовался он красно-оранжевой в чёрно-фиолетовых кольцах мантилийкой бабочки, отдыхающей на зелёном стебле лугового ириса; застывал в обаянии от немыслимого сочетания синих искр на алом шёлке раскрывшегося мака; а семицветный газовый руш-

ник радуги, преизящно наброшенный на полнеба, вызывал мысли о бесконечной щедрости Творца. Дрок счастливым посчитал для себя день, когда сын соседки, хозяин самой большой в округе красильни, пригласил его в ученики.

Младшего отпрыска Горох Петровича считали в деревне почему-то приёмышем: весь какой-то серый – и глаза, и волосы, и землистый цвет испитого лица... Да весь он какой-то хворый и замухрыши-стый. Даже имя ему досталось прежалкое: Мышиный Горошек. Братья в детстве, бывало, если и возьмут его с собой играть в бабки, впавши в азарт, забудут о нём, и сидит он на камушке, изо всех самый ма-хонький, никому не нужный. Или увяжется за сест-рицами на речку... Они ему: «На мостки не ходи, ещё поскользнешься, утопнешь... А не утопнешь – про-студишься, какая зараза привяжется... Одна морoka с тобой. Иди домой, Пепельный!»

Сверстники просто гнали болезного: «А не пошёл бы ты, крысёнок, в болото!»

Даже мать родная, Верблюжья Колючка, смотре-ла на младшенького сокрушённо, будто он в чём ви-новат был, а в голове у неё в это время проноси-лось: «Отрава ты моя горькая! И чего тебя при рож-дении-то чёрный ангел не взял...».

Один старичок, Нектарий, жалел и привечал пар-нишку. Не шутейный травознатец был, считали его знахарем, а многие и колдуном. Жил в избушке, да-леко отстоящей от деревни, на краю оврага, зарос-шего боярышником, шиповником, орешником да облепихой. Побавивались этого Нектария. Но то му-жик надсадится на лесоповале, то бабе занедужит-ся, то скотина ни с того ни с сего заиздыхает – со всем к нему, а тот всегда и всем помочь рад, нужды

нет, что в спину о себе всякое слышит. Вот и Горошка привечал, жалел – как давно отбившегося и пропадающего без мамки ягнёнка. Стал отпаивать какими-то травками. Подкармливать всякими кашами, на воде сваренными, которые чем-то ещё приправлял да сдабривал – порошками, сиропами, каплями...

Незаметно серость с лица у Мышиного Горошка сошла, щёки красные сделались, грудь впалая выпятилась, цыплячьи плечики поднялись, расправились. Волосёнки заблестели, овсяной соломой отдавать стали; глаза повеселели, какой-то тихий задор в них появился; голосишко позвончел, осмелел. Оживел, одним словом, паренёк. «На человека стал похож», – ласково гладил его Нектарий по голове. Соседи перемену в Горошке вперёд родителей его заметили: «Чо жо это, младший-то ваш на глазах, как на дрожжах, матерееет – невесту пора искать ему».

Горох Петрович с Верблюжьей Колючкой за шутку эти слова признали, стали смеяться. Их вечная болячка, Мышиный Горошек, и вдруг – жених! Потом посмотрели на своего младшего, как впервой увидели: правда, возрос. Надо его к какому-то ремеслу определять, пусть учится делу и какую-никакую копейку в семью несёт. Но для начала надо ему предел положить – хватит к бездельнику Нектарию шастать, по оврагам да буеракам, как два лешака, ошиваться.

Мышиному Горошку обидно стало: чо жо такое хладное-то сердце у родителей, не видят разве: это же дедушко Нектарий его из смертной тени вызволил. «Не могу я дедушку Нектария кинуть – я ему маленько помогаю, кое-чому учусь у него», – как бы повинился младший сын. Мать сказала: «Ишь, паршивец какой – голос у него против воли родительс-

кой прорезался! Чому тебя этот Нектарий научать взялся? Колдовству?! Ну-кося, угости-ко неслуха мёдом с пряжкой, отец!» Драть сына ремнём Горох Петрович не стал, но за волосы-таки оттащал, благо они у Горошка стали теперь густые и длинные.

После этого случая Мышиный Горошек был бит родителем дважды и уже не для острастки, а до синих полос на мягком месте. То есть малому вкладывали ума. Горошек терпел, молчал, не огрызался, а едва выдастся свободное время, он уже в избушке Нектария.

А время текло себе неслышно-невидно, и стала в семье незадача: что делать с тремя невестами-бесприданницами?

Они были не хуже других девиц в деревне, всё при них, всё на месте и похожи одна на другую, как горошины: губастенькие, глазастенькие, сисястенькие. Главное – для работы рукастенькие. Для семейной крестьянской жизни такие девушки, ой, как гожие. Однако, последние три недородных года подразорили преизрядно Горохово хозяйство. Так что на дочек Горох-Петровича поглядывали, но сватов не засылали.

Старших сыновей Гороховых, Донника и Дрока, избранное ими дело увело далеко от родного дома.

Мышиный Горошек вроде при семье остался, но не откачнулся от Нектария. Родители – куда деваться! – смирились, не лупить же молодого парня кажинный день. Так, вроде и не сопротивляясь особенно-то, отстоял свою судьбинушку Мышиный Горошек. И к совершенным своим летам не просто овладел секретами Нектария, но кое в чём начал превосходить, подбирая лучшие составы снадобий. Да что-то не шибко радовался Нектарий успехам Горошка,

всё будто туман печали застилал лицо старика. «Уж не ревнует ли меня мой батюшко-учитель? – заскорбел в душе Горошек. – Уж не жалеет ли, что так безоглядно открывал все свои знания?.. Не можно в такое поверить!»

И вот под самый закат земной своей жизни сказал старый травознатец своему ученику: «Не умру спокойно я, любезной моему сердцу выюнош, если не открою тебе этой тайны, и если ты не превзойдёшь этот предел. На краю Земли, если идти от нас против солнышка 77 дней и 77 ночей, живёт Набольший Чудодей, самолучший в мире травник-ведун. Вот у него тебе бы поучиться, сынок!»

...Упокоили Нектария возле его избушки, на краю того самого дебряного оврага. И сразу же двинулся Мышиный Горошек в завещанный старцем путь.

Горох Петрович и супруга его Верблюжья Колючка тихонько недужели, начинали одолевать их немочь и тоска по внукам, да ведь тоскуй – не тоскуй, откуда им взяться, внукам-то...

И тогда послали родители сыновьям слёзные письма... Так, мол, и так, помогайте сёстрам своим любимым; складывается, что вековухами они останутся; возраст такой, что дальше ловить нечего, женихами не пахнет. Хоть какое-никакое, а приданое объегорить надо. Чем можете – выручайте...

Дочери – Вика, Фасоль и Чечевица – земле не предавались, тоску свою по семейному счастью на воротах не вывешивали, и неизвестно на что каждая свою надежду возлагала.

Скоро ли не скоро, но каждый в свой час сыновья получили родительские грамотки.

Донник в то благодатное лето большой туес мёда у хозяина заработал и не промедлил с ответом на

отцовское челобитье: весь туес в родительский дом с оказией отправил, ко свадьбе обещавши приехать.

А мёд-то (в чём вся секретка) не простой был. Только про то до поры никому не должно быть ведомо. Это маленькая лукавая колдунья «Астрогал Божьи Ручки», или Кошачий Горох, которой Донник в самое её сердечко запал, над туесом поколдовала и мёду волшебную силу придала.

Дрок-красильщик не меньше старшего брата любил своих сестёр, и целую штуку полотна, в золотой цвет выкрашенного, подаренного хозяином за славную работу, в родимый дом выслал. И также обещал на свадьбе быть.

А в красильне своя маленькая волшебница жила, Чина её звали, тяжёлому ремеслу красильщиков покровительница. Тем, кто трудолюбием редкостным и пытливостью ума ей нравился, Чина свои знания приоткрывала, чтобы полотно живой цвет имело: от лучей солнечных не выгорало, не линяло от ливней немилосердных, от морозов – не ломалось бы, не коробилось. Дрока из всех Чина выделила, и полотну, хозяином красильщику подаренному, чудные свойства придала.

Доннику и Дроку только по дню единому и выделили хозяева на свадьбу, и потому прибыли они с утра пораньше. Но младший брат, Мышиный Горошек, обскакал их. Очень хотелось ему ночевать в избушке Нектария. Но избушка была сожжена, а горелые брёвнышки скачены в овраг. Могилка Нектария, размытая дождями, почти не угадывалась в траве.

С младенческих лет ни плача от Горошка, ни слёз не видали. Сам он единожды только услышал, как сестры разговаривая меж собой, показали на него,

перебирающегося из кухни в горницу через порог, пальцем и пошутили: «Явилась наша отравка?» – с улыбкой спросила Горошка Чечевица. «Мышьячок!» – весело откликнулась Фасоль. «Ну, чо вы, девки, так?! Не надо. Ещё прилепится дразнилка», – укорила сестёр младшая Вика.

На деревню прозвище не вынеслось, но дома нет-нет да и называли старшие сёстры Горошка Мышьячком. Он не знал-не понимал этого слова. Но непостижимым образом маленькое сердечко восприняло его убийственную суть. Только губы задрожали, а потом сжались в твёрдую складочку. И слёзы, вскипевшие в глазах, не пролились. Так однажды уразумев, что плакать – это только усиливать отвращение к себе, он, когда его обижали, лишь клонил к плечу свою лобастую голову...

Было от чего хиреть мальчонке. Если бы не дедушко Нектарий... И тут случилось то, чего Мышиный Горошек, считавший, что сердце его стало закалённым и жёстким, как верблюжья мозоль, разревелся. Впервые в жизни. Он ревел самозабвенно. С подвывом. Сладостно. А потом, как убитый, заснул. С подтянутыми к груди коленями. Лицом в согнутый локоть. Взрослый младенец.

Конь, не расседланный, в тороках, стоял-стоял над хозяином, потом лёг рядом и положил голову ему на бедро. Ещё не проснулся Горошек, а уже слышал, как дедушко Нектарий выговаривает ему: «Сынок, не убивайся ты: обычное дело, когда не ведают, что творят». «Ведают, ведают!» – не соглашалось сердце Горошка. «Это веденье приходит к очень многим смертным только пред Вечным Порогом. Всех не обречёшь. Делай, что можешь, а Жизнь как уж управит... Ты же на праздник приехал? Подарки приготовил? А хижинка-то наша в логу как сохранилась? Помнишь, мы вместе её сотво-

ряли, кубастенькая она у нас вышла, удобная... Цела поди? Дай отдых себе и коню, а завтра появишься перед всеми чин-чинарем, королевич Елисей!» Дедушко Нектарий улыбался в свою белую бородку, Горошек чувствовал эту улыбку по его голосу.

Хозяин и конь вскочили одновременно. Горошек разнуздал коня, освободил от ноши, дал пастись свободно. А сам достал из тороков нож и принялся облагораживать место упокоения своего учителя. Нарезал дёрн пластами, изладил могилу. Потом натаскал из оврага белых разновеликих камней и положил на могиле шестиугольный крест... Шестиугольные кресты были и в избушке Нектария, и в сотворённой ими хижине. Она таки-уцелела. И Горошек после трудов праведных заповедной тропкой свёл своего друга в овраг, к ручью, там они оба освежились родниковой чистоты водой, Горошек облагообразил себя, и каждый из них наслаждался своей половиной горбушки ржаного хлеба.

Свадебные столы накрыли во дворе. Непростое дело было для Горохова семейства – отгулять враз три свадьбы. Женихи всё же нашлись. Чечевице – Бадяга, Фасольке – Татарник, Вике – Пырей. Каждый жених о себе мнил, что честь великую оказывает Горох Петровичу и Верблюжьей Колючке. Столы были не сверх богаты, но всё праздничное было выставлено с избытком. Пора бы уж и начинать – да всё не было младшего брата. Правда, и ответа родители от Мышиного Горошка не получили на своё челобитье. И никакого подарка он не прислал заранее, как старшие братья сделали... О плохом думать не хотелось. Свадебный народ терялся в догадках.

И тут в воротах явился всадник. Он был в заморском платье, на голове шляпа, украшенная перелив-

чатый пером. В сумах, притороченных к седлу, угадывалась нелёгонькая поклажа.

Всадник молодецки спрыгнул на землю, высокий и какой-то несуразный: ноги длинные и худые, а на них, под коротким балахоном, колоколообразное тулово. Снял шляпу и поклонился застолью.

– Кто такой? – вскричал Горох Петрович, видя в необычном госте неприятную помеху, а кто знает, может, угрозу...

– Я – Термопсис, – начал представляться гость, но дальнейшие его слова заглушил недружный, но громкий хохот. «Мопсис!» «Мопсис!» «Мопсис!» – задразнилили несколько голосов, – «Собака!»

Донник резким взмахом руки заткнул хор и сказал отцу:

– Кто бы ни был, а не пригласить к столу, тятенька, не по-людски как-то.

– Незнамо кого! Первого встречного! – сверкнула глазами на старшего сына мать.

– Хоть первого, хоть десятого, – весело урезонил Верблюжья Колючку Дрок, – несусветно плохая примета – отогнать гостя от свадебного стола! Вы чо, хрестьяне: всем нам, кто за этим, столом, аукнется, – уже просто смеялся Дрок, и непонятно было: в шутку страшает или это действительно верная примета.

Тут младшая из невест, Вика, поманила Дрока пальчиком:

– Братко, кажись, это жо наш младшенький, Мышиный Горошек!

Дрок глянул вострее и радостно возопил: «Ёлки-палки!», – ринувшись обнимать гостя и его коня.

Что тут сталося! Всё пошло так, как на свадьбах нормальных не бывает. Народ повскакал, желая перво-наперво убедиться в том, что Термопсис – это

взаправду младший из сыновей Гороховых, тот самый замухрышка Мышиный Горошек...

И ещё – распирало любопытство: что за подарки в сумах, притороченных гостем к седлу его коня?

Термопсис снова вскочил в седло, и сидя на коне, во всю ширь распахнул полы своего нелепого балахона. Взглядам любопытствующих предстало множество разномерных карманчиков и карманов. Накладные и потайные, они располагались сплошняком друг над другом, и всё в целом издали напоминало какую-то невообразимую чешую.

– Это вам, мои любезные сёстры-невестушки, от нас, с доброй памяти, дедушкой Нектарием, плоды наших неустанных трудов и бдений – чтобы вы всегда здоровы и пригожи были...

– Чо такое?! – всполошилась Верблюжья Колючка, – от покойника, чо ли, от колдуна Нектаришки?! Ничо такого – не надобно нашим невестам: ни от чохотки, ни от сухотки, ни от порчи, ни от корчи, ни от сглазу или какой заразы, ни от простуды – оне здоровы, ни от остуды – како там любит-не любит, уж свадьба идёт... Сам-то ты, Термопсисом, назвавшийся, хто есть ты таков?!

Термопсис снял свой балахон, весь в карманах-карманчиках, стал его на все стороны поворачивать, потряхивать. Шуршали да позвякивали коробки да коробочки, флакончики да пистончики, фляжечки да баклажечки...

– Здеся не только от хворей, – пытался втиснуться младший сын в мутный поток материнских словес, – а для красоты...

– Для красоты-ы?! На чо им краса! Здоровы – и ладно!

Тогда Терморпсис откупорил два или три флакончика, помотал ими в воздухе вокруг себя – пространство наполнилось ароматами цветущей сирени и ду-

шистого табака... Провёл какой-то подушечкой по левой щеке девчушки, ближе всех подошедшей к всаднику, по правой щеке провёл палочкой. Левая щека побелела, правая зарумянилась... Пудра и румяна пахли приятно и нежно. «Фу ты, ну ты!» – презрительно фыркнул Бадяга. «К нам пожаловал господин Фуфу!» – съехидничал Пырей. «Да уж, не из тучи гром...», – присовокупил свою колючку Татарник.

Но к Термопсису уже хлынули и девушки, и мамы их, и совсем девчушки.

– Офеня! Офеня прохиндейский – вот ты хто! Прискакал – опозорил сестер! Испоганил свадьбу! Хорош сынок! – исходила криком Верблюжья Колючка. – Уматывай отсюда!..

– Вот так, матушка?! Вы с младенческих ногтей меня едва терпели! Дак ведь мне собраться – только подпоясаться! – из глаз гостя алмазными искрами брызнули слёзы. Он швырнул на землю свой балахон, поднял коня на дыбы, тот потоптался на задних ногах по сброшенному платью; захрустели под копытами баночки-скляночки. Термопсис стрелой вылетел в растворенные ворота – напрямик к лесу.

Воцарились безмолвие и растерянность. И долго стояла тишина. Только две девчушки несмело присели у балахона, выбирая уцелевшие снадобья. Верблюжья Колючка безумными глазами смотрела на людей, люди на неё. Вдруг она пала лицом на стол, едва ли не в блюдо со студнем, возрыдала: «Ой-иё! Дура я ду-ура, и чо я, дура, изделала?! Убить жо меня, дуру, мало. Родное дитё выгнала-а».

Дрок ломанулся в конюшню, из конюшни вышел, ведя в поводу застоялую гнедую лошадку, которую пожаловал ему на время поездки хозяин – дабы лишнее время на оказии не терял и воротился скорее:

важные и срочные заказы поступили...Заказчиком надо дорожить. Дрок взлетел лошадке на спину: «Живые или мёртвые вернёмся оба!» – захохотал, потом сказал Верблюжьей Колючке: «Матушка, не вовремя вы удумали реветь. – Знайте:

Чтобы брат середний, Дрок,
Младшего не поберёг?!..
Нет, ни для какого виду
Я не дам его в обиду!

«Матушка, так чтобы всё было, как у добрых людей!» – Дрок чуть задел кобылку – она уж взвилась, свистнул собаку, и только пыль за клубилась вослед.

Собака точно привела Дрока куда надо. Термопсис сидел подле могилы Нектария, оглаживал каждый белый камень выложенного им креста. Лицо было мокрым от слёз. Конь, стоящий поодаль, при виде всадника и собаки, тревожно заржал. Братья глядели друг на друга.

Миг - Дрок спешился и опустился на землю рядом с братом, притянул к своей груди:

– Ну, чо ты, братко! – в какой семье греха не бывает!.. Не держи обиду, давай возвернёмся!

– Дро-ок! Я – дурак! За-ачем я сюда летел?! Кому я здесь нужен? Кто меня ждал? Я всем – чужо-ой!

– Ну, во-от, – тормозил брата и смеялся Дрок, – ты здесь, на могиле валяешься и ревёшь «дурак я дурак», а мать там за столом в блюдо со студнем лицом пала и тоже ревёт «дура я дура, младшенького своего прогнала».

– Ага? – превратился в ребёнка Термопсис. – Прямо так и говорит, что дура, и ревёт?

– Ага, так и ревёт. И нософырка в холодце!.. А девки-то стали твой малахай терюшить, помаду искать... Налетели, как сороки!

– Ага? Так и налетели!

– Так и налетели, ага!

Братья хохотали и хлопали друг друга по спинам.

А когда вернулись – столы свадебные были как на параде. Испереживавшиеся, оголодавшие, все пристойно сидели. Обсуждалось, как поступить с главными подарками. Какой паре туес с мёдом отдать, какой – штуку полотна, какой – остатки изобретений Термопсиса, уцелевших от копыт коня. Делить на троих каждый подарок – ни то, ни сё, и как делить? Кинуть жребий – кому что достанется. Тоже нескладно...

Всяким смутам и толковищам пришёл конец, как только во дворе появились два всадника. Их ждали, и была общая уверенность, что вот они вернутся, и наступит общая чистая радость.

Что описывать, как пили-ели, яства хвалили, «горько!» кричали – это как на всех свадьбах. А вот о том, чего вы ни на каких свадьбах пока точно не видели. С подарками-то что оказалось? Подаренная Дроком штука крашенного под присмотром «Астрогал-царские ручки» золотого полотна, имела ещё одно замечательное свойство: сколько сегодня отрежут, на столько завтра прибавится. Стало быть, что получается? С одной штуки вся семья может одеваться хоть всю жизнь? Эвон как дело-то повернулось! Мало, Дрок свадьбе ещё один подарок предъявил, вроде как «с выходом из-за печки» – у него же без шутки да припляса не получается:

«Я – красильщик славный, Дрок.
Если в ливень ты промок,
Вот мой плащ. Бери, и с ним
Будешь сух и невредим.
Плащ – любому будет впору,
Но не татю и не вору.
Плащ таких удушит сразу.



Он от сглазу и заразы
В смутный час убережет,
Дом твой от беды спасёт.
У порога вбей гвоздок –
Так велит красильщик Дрок.
Украдут – вернётся птицей.
Пусть, как песня, жизнь продлится.
Ойя-ах! Ойё-ок! –
Не танцует лишь пенёк!
Замуж выдадим сестёр,
Снова соберём на двор
Пир честной – три свадьбы новы,
Выставим столы дубовы:
Женит сыновей Горох!
Наш старик совсем не плох!
И Верблюжия Колючка
Вовсе никакая злючка!
Мы под крышею одной
Заживём большой семьёй.
Ойя-ах! Ойё-ок!
Ну-тко встали, руки в бок!
Выходи, народ, плясать,
Стать и норов показать!»

Тут поднялся, высоко держа ведёрный туес над головой, старший сын Гороха, Донник:

«Медовою сказкой жизнь точно не будет,
Но в туесе вашем медок не убудет.
Детишек питайте, родню угощайте,
Подступит нужда – немного продайте.
Как хлеб подымает закваска извечно
От первого дня и до тризны конечной.
Пусть ныне и присно, как Божье причастье
Пребудет сей дар Вам на радость и счастье».

Тут и сказочке конец.
А читатель – молодец!



ПРО ОБЛЕПИХУ

А была Ненагляда из гордого княжеского рода, красы неприступной, можно сказать, державной, и кто бы из молодых князей и хотел к ней посвататься, да не смел. Чувствовали купцы: не по карману товар.

А и был один никудышненький князишка, богатства невеликого, зато нраву – заносливого, вздорного. И поглядеть вроде не на что: росточком с ноготок, глазёнки враспырку, а губа – с локоток. Но что спеси, петушливости! И к чиnam-званиям-имениям почтения никакого! Даром что сам из смешных смешной, а всякого иного на смех норовит поднять. Язык-то чисто шило! Ковырнёт так ковырнёт, до самой печёнки достанет... Но что хуже всего, был неверя несусветный... Не верил ни Богу, ни хвостатому, ни родной матери. И вот поди-ко ты, к такому-то невере и пересмешнику липли бабы и девки, ровно мухи на мёд. Бывало, ему мужнину жену сомустить*, что цыгану коня с чужого подворья свести.

И что удивительно было, как это такой шельме до сих пор шею никто не своротил? Сила нечистая, что ли, его хранила, Фому Неверного?

В этого-то князишку и влюбилась княжна Ненагляда.

*Сомустить – смутить, сбить с истинного пути.

И так он в душу ей пал, что стал ей без него свет не мил. Родители Ненагляды, старый князь со княгиней, извелись с бедной, в сотый раз подступают:

– Вековухой остаться решила? Какие витязи к тебе сватаются – тебе всё не хороши! Из какого царства-государства выписать тебе жениха?! Смотри: девки боярские, девки купецкие, девки крестьянские – все замуж выходят. Только свадьбы гудят! А ты у нас ай в поле обсевок?! Не позорь отца с матерью. Ведь уж в народе говорить стали: не с изъяном ли каким княжеска дщерь? Может, кривобока али кривоока, горбата али конопата...

– А мне чо! – сердится княжна. – Языки людские без костей, пусть себе говорят! Вы-то знаете, что я у вас не уродина!

– Так-то ты родительску-отцовску честь считаешь? Вот царь-восударь на Пасхальну неделю почестен пирпированьице затевает, все князья ко столу царскому званы – со чадами и домочадцами даже: сыновья со снохами, дочери – с зятевьями. Мы-то каковы с тобой, безумной, предстанем пред очи светлые, восударевы?!

Зацепил-таки батюшка Ненагляду за ретивое. Распалилась она и говорит:

– Ну, батюшко с матушкой, сами выпросили, так и получайте. Выбрала давно я себе суженого...

– Охтенки, родная, чо же томила-то! – подскочил князь и в ладоши хлопнул – слуг звать, распорядица сделать насчёт свадьбы.

– погоди, охолонь, батюшко. Раненько ликуешь. Спроси хоть, как звать моего суженого.

– Ай, нам не всё равно, был бы тебе люб. Называй скорее, чо за князь-витязь, дитятко наше ненаглядное!

Рассмеялась Ненагляда, рассыпала бубенчики, посмотрела на батюшку, посмотрела на матушку и – как топором отрубила:

– Вот моя воля: замуж хочу за Фому Неверного и ни за кого другого. А то и замуж не пойду. В девках дубенеть буду!

Родители пали осокой подкошенной и три часа лежали без памяти.

Шуму потом было дикого, воплей и упрёков, слёз – море великое. Не мытьём так катаньем взяла, допекла своих стариков Ненагляда.

– Ин быть по-твоему, несчастная! – безнадёжно махнул рукой старый князь. – Теперя что прикажешь: сватов его ждять али самим засылать? – Ни на что он уже не надеялся, так просто пошутил уныло: Может, Фома-то этот Неверный на тебя и глядеть не пожелает?

Княжну Ненагляду оторопь взяла:

– Как так не пожелает? Ко мне вон какие соколы подлетают, не чета ему, а он «не пожелает»! Я не девка какая-нибудь чернавка-чумичка. Не пожелает он!

Но всё же уязвил родитель сердце любимицы сомнением, и решила она для верности, чтобы конфузу не вышло с преждевременной оглаской, через няньку свою назначить Фоме свидание в саду нынче же вечером.

Фома явился на свидание под утро. Брезжить начинало уже. Бедная княжна с нянькой своею до костей продрогли, ноженьки в росе промочили.

– Чо припозднился-то я? – захохотал Фома, – да не поверил, чо сама Ненагляда-краса меня призывает. Хорош бы я был, коли заявился бы на свидание, где меня не ждёт никто! Я и сейчас заглянул на всякий случай. Возвращался тут ото вдовушки одной и дай, думаю, позырю, иде ж это, в каком таком месте княжна Ненагляда свидание мне обозначила? Тебя и не чаял тут узреть, а ты, стало, впрямь ждала! Вот так Ненагляда-краса! Вот так горделивица! Ну, потеха! Рассказать в пиру – люди от смеху мо-

рёными мухами попадают! Так чего тебе от меня, краса, надобно? Зачем зазывала?

А у Ненагляды ретивое обидой и гневом кипит, убила бы Фому за своё унижение. Карманный князишка. До пазухи не достаёт, а язва какая! И задор брал княжну – заставить неверю об сапожок её сафьяновый обтираться, всех подивить своей выходкой, с Фомой обвенчавшись.

– Зачем зазывала-то? Да уж не из-за пустяка, – сдержала гнев княжна.

– Знамо, не из-за пустяка, – взгоготнул Фома, – всё ж не пристало такой красе такое унижение себе творить.

– Никто меня не унизит, если я сама себя не унижу, – отвечала Ненагляда. – Да чо мне оставалось... Тут час такой подошёл... Царь-восударь пир на Пасхальной неделе затевает, созывает князей своих со чадами и домочадцами. И зазорно, видишь ли, моему батюшке с такой зрелой – не замужней! – девицей явиться. Царь посмотреть желает на всех наследников княжеских, знать, кем и как управляется его царство-восударство и чо ему от князей своих ожидать... А батюшка мой стар, забота у него про завтрашний день: на кого леса-пашни, на кого двор княжеский оставить...

– Охты-охтенки мне! – закатился Фома. – Да ты чо, Ненагляда, никак сватаешь меня за себя? Да не с ума ли ты сошла – на такого вскинулась! Чо, насолить родителям вздумала, молвой людской потешиться? Вот-де, захочу, так хоть за скомороха выскочу. Но, перво-наперво, запомни: народ всякое видал, и его ничем не удивишь. А другое – меня-то ты чего ж не спросила? Мне-то зачем этот раёк? Если я людей посмешить захочу, я посмешу их на свой манер. Но, может, тебе другое надобно – просто на-

следник, так ты мне давно глянешься. Дитём тебя одарить – мне в радость великую и великое удовольствие. Я по этой части мастер и бью без промаху. От меня парнишки крепкие, как орешки, родятся... Наследника я тебе твёрдо обещаю.

У Ненагляды голова кругом. Сердце пойманной птицей под горлом плещется. Земля из-под ног уходит от таких наглых горячих речей. А Фома совсем близко подошёл:

– Ну, ты хороша, Ненагляда, вблизи ещё больше хороша... Никогда у меня такой крали не было! Вот потому-то я тебе и не верю. Это судьба надо мною посмеяться решила и для того тебя послала. Так я не буду судьбу искушать. Я от тебя – пусть земля перевернётся! – от такой красы от-ка-жуся! Эх, я опростоволосился ныне! Ныне меня в святцы занесут, и сразу мне все мои грехи простятся, – потешался Фома, – а у самого (вот и возьмите его за пятиалтынный!) слезами застилало нахальные зенки... – Нет, княжна! И не уговаривай, не пойду я за тебя замуж – жаница на тебе то есть – не буду. А тем паче иметь с тобою какие другие дела! Не могу и не хочу. Мне одно свидание это больше лестно, чем женитьба на тебе аль владение тобою.

Княжна и бледнела, и краснела, и пятнами покрывалась, и почти без памяти делалась, и броситься, придушить была готова карманного князишку. Ещё нянька-то поблизости находилась, всю беседу эту дикую, надо быть, слыхала.

– Большой грех на тебе, Фома, будет, чо ты так галишься надо мной. Я душу тебе открыла, а ты... Всё, стало, ничего иного я от тебя не услышу?

Усовестился Фома, сделалось жалко ему Ненагляду такую прекрасную, глупую и несчастную такую:

«Дай опомниться, княжна. Да и то подумай, не башмак на ногу ты хочешь мне подарить, а хомут на шею – вечную неволю. Это чтобы батюшка твой, пресветлый князюшка, благодетелем моим себя почитал? Да не бывать тому никогда!»

– И что ж, злодей, мне, стало, от тебя ни с чем ворочаться? – прошептала княжна, белой голубкой ладони ко груди прижавши.

– Как ни с чем? – усмехнулся Фома, – я не отказал тебе, радуйся! Я подумать обещал. Теперя жди – думать буду.

– И долго ли?

– Того я не ведаю. Может, через час решусь, а то и через тридцать дён не приду ни к чему. А может, так и не осмелюсь. И потом – на твоё счастье с иным избранником гляючи – всю жизнь жалеть буду, что упустил свою птицу Феникс, которая совсем уж было в руках моих трепыхалась.

С тем и оставил Неверя Ненагляду в саду. Княжна нашла в себе силы прокричать во след:

– Фома-а! До пиру-то царского три недели только и остаётся!

– Мне чо за дело! Я туда не зван, – не то всхлипнул, не то всхотнул Фома, да и пропал в тумане розового утра.

Наревелась княжна в своей светлице – подушка от слёз была мокрёхонька. В жизни её никто так не обижал.

После ужина в тот день отец снова позвал Ненагляду к себе: «Не образумилась? Како твоё последнее слово?» «До последнего далёко, батюшко. Погодим нито. Чой-то сомнение мне пало в душу насчёт Фомы», – вздохнула княжна.

– Вот это ты воистину молодца, дочь дорогая! Уж одно твоё сомнение хорошо. Только долго-то не

тяни. Нам хотя бы обручение сделать, коли со свадьбой не поспеваем...

И после стал князь каждодневно дочь пытаться, тем изводил её ужасно. «Ну, хоть назови примерно двух-трёх, из кого выбирать будешь». Так проползли, проволоклись две недели и пять дней. Княжна всё на что-то надеялась. Ждёт-пождёт весточки от Фомы Неверного, а тот не шлёт. На шестой день последней недели позвал князь дочь к себе с утра. Та передать велела, что занедужилось ей, а няньку тем временем за Фомой погнала.

Няньке за княжну горестно. «Не пойду я к этому срамцу, – думает, – возьму грех на душу, скажу, отказал он тебе. Чо ей останется? Выберет кого ни на есть. И кого не выберет, любой лучше Неверного!» Бродила, кружила нянька до сумерек, наконец, явилась перед Ненаглядой. Та выслушала няньку – почернела вся. Слова не обронила однако, только губу прикусила, да так, что кровь пробрызнула алой струйкой на белоснежную кружевную становину. А ближе к полуночи обрядилась в нянькино и припустилась к дому Фомы Неверного. Затаилась под окном опочивальни его, на пята распахнутого – ночь тёплая да душная была, гроза в этом годе первая собиралась.

Стала слушать княжна, чо в опочивальне деется. А там Фома кому-то прелестные слова расточает. Лихо княжне стало, сдавило обручем темечко, и пала бедняжка бесчувственно прямо в цветник. У недавно выбравшихся из земли цветиков звонко хрустнули стебли. Фома почуткой был – выскочил немедленно:

– Чо за нечисть мои любимые цветочки топчет?

Заметил тело: «Убили кого?» Подошёл, поднял, под лунный свет вынести хотел – тут облако накатило. А и так догадался, засмеялся, головой покачал, в лицо девичье дунул. Княжна глаза открыла – Фома над ней, забила куропаткой. А он крепко держит и отчётливо так говорит:

«Не сумасбродничай, Ненагляда-краса. Это ведь ты от любви к себе самой бесишься. Как, думаешь, ещё такой-сякой от меня отказывается? Не верю я тебе, княжна. Ну, да вот тебе моё слово: обручуся я с тобой завтра, коль ты облепила меня со всех сторон – чистая облепиха. Упрятаться и отцепиться от тебя невозможно. Но после обручения, после пированья царского ты уйдёшь – да куда хошь! Обрядишься вот так же каликой переходной. Возьмёшь клюку пудовую, обуешься в башмаки жалезные, соберёшь в торбу хлебов каменных и три года по свету отскитаешься – пока башмаков не истопчешь, хлебов не изложешь, зубов не источишь. И ежели воротишься живой – тогда честь по чести сыграем свадебку».

И Фома так поцеловал княжну, что из неё душа чутков не вылетела. Едва опомнясь, Ненагляда обвинила Фому руками за шею и залилась слезами:

– На всё, на всё я согласна, злодей.

Фома еле руки Ненагляды разлепил:

– Ну, говорю, облепиха, облепиха и есть. Этак ты, по свету шляючись, каждого встречного облеплять будешь. Да ладно, ладно, не реви, шутливого слова не отличаешь.

И прошло три года.

Исходила княжна Ненагляда три тыщи дорог, перешла три пустыни, переплыла тридцать три реки и три моря, истоптала свои башмаки железные, изложила свои хлебы каменные, источила зубы жемчужные и явилась, дом родительский минуя, под окошко Фомы Неверного.

Лето исходило теплыню, и опять рамы стояли растворены. И цветы цвели уж в полную силу, и луна светила! И опять Фома какой-то прелестнице сладкие слова бисером рассыпал... Ох, не стерпела княжна. Ударилась клюкой своей чугунной в косяк. Повыскочил-повыпрыгнул

Фома из окошка на улицу, заорал страшным голосом:

– Что тебе надо, калика перехожая, наглеющая? Что тебя под моё окно косячато* занесло и что за умысел ты строишь здесь? Щас затравлю тебя собаками заморскими, что злее Змея-Горыныча!

– Ах, Фома! Ах, мучитель мой! Ты забыл наш уговор-беседушку? Погляди: моё платье всё в лоскуты поразодрано, а железные чоботы издолбились; о хлеба твердокаменные истесались мои зубоньки; иссушили мое лицо ветры знойно-пустынные... Не горючие ли слёзы ослепили мои глазоньки! Пообсеклась моя косонька. Посугорбилась моя спинушка... Всё от той ли дороженьки – в долгих-долгих три года: три лета–три зимы...

– Ты гляди-ко: не сгнула! Явилась! Смерть тебя благолепнее. Эк тебя скривомордило! Мать с отцом не узнали б, ежли б даже вдруг ожили...

Зарыдала Ненагляда, на клюку опираючись. Потом побрела к родному гнезду, к родовому терему. И ни одно-то оконце в нём не светилось. Но не то что стража, а и собаки её не узнали, изругали на собачьем языке самыми злючими словами. Вдруг один, из всех самый набо́льший пёс, чёрный и лохматый, ну, истый медведь! – как-то жалобно взвизгнул, весь затрусился и положил голову на босые ноги Ненагляды. И вся свора затихла. «Задорушка! – прошептала княжна, – ты ли так вымахнул?! Ай, вспомнил, как слепым остался без матери, которую по-нечаянности убили на охоте, и я тебя, сиротинку-крошечку из соски выкармливала. Спасибо тебе за память, Задорушка, – потрепала она пса по его большой шарообразной голове. – Я только попрощаться с родным домом

* косячато – окно с косяками.

зашла... Давай, уйдём вместе?» И они ушли. Утром дворня дивовалась, куда девался Задор?

Всё потеряло для княжны цену. Набедовалась, насмотрелась всякого, ко всякому привыкла. Ради кого, ради чего было ей объявляться?! Ни власти, ни богатства своего княжна не хотела. И подалась Ненагляда в дикие леса. За высокие горы. Высмотрела себе поляну с заброшенной хижинкой и стала жить, как уж получалось. У отшельницы как бы глаза открылись в её душе. Стала она понимать язык цветов. Звери приходили к ней залечивать свои раны. Задор ей был надёжным стражем и... добытчиком по части дичи.

И так текло время...

Однажды на стыке лета и весны застал княжну ливень у любимого её ручья. Забралась она в дупло старухи-ивы и сладко заснула там. Проснулась, а небо давно очистилось, сияет ровно младенца голубые очи. Тишь, теплынь, влажное благоухание. Вода в ручье успокоилась, снова прозрачной стала до самого пёстрого каменистого своего дна.

Подошла княжна к ручью освежиться после горячего сна, водицы испить. Опустилась на колени на бел-горюч камень, наклонилась к воде, и страх Ненагляды взял. Как же верный страж Задорка знака ей не подал, что чужие появились? Красавица какая-то выглядывает из-за её плеча, глядится в живое зеркало ручья, и встречаются они глаза в глаза. Поворотилась княжна боязливо в одну, в другую сторону – никого! Снова в ручей глянула. Смотрит на неё красавица не то растерянно, не то испуганно. «Что же это? Стало быть, это я сама?!» – не хотела себе верить княжна: ведь она давно смирилась со своим старушачьим обликом. Стала теревить себя за нос, хватать за уши, щипанула щёки, потрогала глаза и

губы, распустила волосы и заплела их в косу. Куда седина делась? Волосы упругие и шелковистые! Огладила ладонями грудь, бёдра. Тело было молодым и весёлым. Не знала княжна, радоваться или печалиться оттого, что красы её никто не видит. И тут поймала восхищённый взгляд белой водяной лилии. А подошедшая лань нежно прижалась к её коленям, будто признавала власть её красоты.

Через малое время захотелось всё же Ненагляде в родном городе побывать... Какой-то увидят её, что скажут глаза людей: может, прекрасные перемены в ней – одно наваждение? А люди дивились её красоте. С ревнивой опаской следили за ней из-под платков мужние жены. Девки ахали. Парни говорили во след манкие слова. Мужики щёлкали языками. Один молодой пригожий коробейник долго шёл за ней и всё улещал принять от него подарок, любую, какая поглянется, безделицу, буски либо зеркальце.

Взяла княжна зеркальце малое с ручкой костяной, глянула в него нетерпеливо и опять не поверила себе – чтобы к старухе да изнова её младое время воротилось... Потом красавец-боярин нагнал, зазывал в свою карету – еле отбилась. А уж перед самым родным домом вывернулся из какого-то переулка князиска Фома Неверный, с ватагой ярыжек, под хмельком изрядным. Узрел княжну – рот раззявил варегой недовязаной. Разгрёб руками голь кабацкую и с выпученными глазами шагнул к Ненагляде:

– Допился я – нечо сказать! Уж она мне мерещиться стала! – и крестился до тех пор, пока княжна в воротах не исчезла.

Так же креститься на княжну стала стража, охранявшая подворье и терем... Да все просто онемели. Хотя и сменилось поколение стражников, помня-

щих Ненагляду юной девушкой, но шёлком вышитый образ княжны был им привычен и глядел на них денно и ночью почти с каждого простенка. Не меньше потрясло всех возвращение незнамо куда исчезавшего пса, главаря всей псарни. Он ходил по пятам за княжной, не позволяя не то что приблизиться к ней, а и смотреть в её сторону: сразу ошетикивался, превращаясь в грозного чёрного медведя, и глухо рычал.

Хотела было Ненагляда зажить прежней княжеской жизнью, да не смогла: пусто ей было в хоромах-то. Толпа челяди, услужливой и наговаривающей друг на друга, была тягостна и противна. Померла и не чаявшая в княжне души нянька. Издали Ненагляде ещё милее представлялись её маленькая лесная хижина и её цветочная поляна, и хрустальный ручей, и приходящая из него пить подружка-лань.

Самое тошнотное было то, что она уже не знала, куда деваться от домогательств старого Фомы Неверного. Он и сватов слал, и сам в ворота ломился, и грозил, и умолял... Он даже доискался до какой-то замшелой Яжонки-Бабушонки. Притащился к её избушке с подношеньцем. Запел масляным голосом: «Распоследняя надёжа ты моя, Бабуся-Ягусенька!» – и давай причитать и жаловаться на отвергавшую его любовь. Баба-Яга в избушку Фому не пустила, но гостинцы в оконце приняла, попробовала. «Скусно!», – сказала. Ещё гостинец пожевала, утерлась рукавом, спросила: «И чо от меня хошь?» «Присуши любезную, Ягуся!» «Княжну-то Ненагляду? Что воззрился! Да этот секрет, Фома, на весь свет и я знаю. Отвечу тебе сразу и больше ни к кому можешь за подмогой не ходить. – Никто теперя не властен над тобой любезной – сколько мне или какой другой Ёжекочерёжке ни пыжиться. Дурной ты, человек, Фома.

Мне даже чой-то и помогать тебе неохота. А за гостинчик спасибо...» «Спасибо мне твоего не надо, Ягуся, – взревел Фома. – Чо мне из твоего «спасибо»?! Горю я весь, понимаешь, горю! Невпродых мне! Дышать мне без неё не можно! День и ночь смешались! Она одна у меня в глазах! Не заесть, не заспать! Ну, сделай ты мне хоть какое-то обегченье, Ягуся!»

Сжалилась Баба-Яга: «Никакая не присуха, конечно, то, чо тебе дам... А всё же порошок знатной, крепости зверской. Ежели сон тебя не берёт – не больше крупинки-другой этого средства съешь с хлебушком или с чем хошь... И сразу же сон тебя одолеет. Только гляди, больше возмешь – можешь и вовек не проснуться. Так что даю меньше малой щепотки – береги, храни, глупостев не делай. Узнаю – настигну: слава обо мне не пустая! Ступай, ужо, и, как моя прабабка говаривала: семь пар нечистых тебе в подмогу».

Медлить Фома не стал; возвратившись в город, в первой же булочной купил баранку и потребил Ягусину крупинку. Дожевав бублик, почувствовал себя здоровым и наглым, впрочем, как всегда. Повезло пронырнуть на княжеское подворье, сразу налетел на княжну. Эх, на редкость удачно денёк складывался. «Так-то и так, любезная, – начал первым Фома, – хватит нам жанихацца, давай, ёлки-палки, жаницца!» Но он не успел договорить...

Серебряными бубенчиками рассыпала Ненагляда свой смех:

– Кривляка! До старости – кривляка!.. Так кто же из нас облепиха? – прилепился к моему порогу – отодрать тебя не можно. Сказала бы я тебе, как ты мне когда-то: истопчи сапоги железные, изложи хлеба каменные, истолки о дороги булыжные клюку чугунную пудовую, а потом поговорим. Да ведь ясно: не

доживёшь ты до того дня – вишь, как износился за эти годы. Но не буду я над тобой галиться, Фома Неверный, как ты надо мной галился. Не буду – из жалости к моей первой горячей и глупой любви. И мучать тебя, дразнить каждодневно своим видом не стану. Нынче же оставлю своё гнездо – теперь уж навсегда. Пойди с миром, Фома, забудь меня, как не помнил все эти годы.

– Помнил-помнил!!! – затрясся Фома.

– А коль помнил, что же не опомнился, что не искал?

На другой день раным-раненько, ещё потемну, вышла княжна в путь в сопровождении верного пса. Вот этого не ожидал Фома, который так и проторчал всю ночь под стенами княжеского подворья. Хотел красться за Ненаглядой следом и высмотреть, где она в конце-концов остановится. Пёс заставил хитреца держаться как можно дальше и вообще все карты Фоме попутал.

Весёлыми молодыми ногами три дня и две ночи, почти не присаживаясь, радостно поспешала княжна к своему зелёному приюту. Задор рыскал, то далеко убегаля вперёд, то делая петли влево и вправо от дороги. Он жаждал подвига: принести хозяйке глухаря или куропатку, но та строго сказала: «Рано!», и он весь издёргался – лёгкое ли дело – дичь выпархивает из-под носа, а ты терпи, хватать её не смей – «Фу!»

Ближе к вечеру третьего дня вышла Ненагляда к своему хрустальному ручью... Вылетевший вслед за нею из чащи леса пёс смотрел строго и возмущённо: «Ну, чего ещё ждёшь? Приказывай уже! Сейчас – или никогда я тебя больше не буду слушать, глупая хозяйка». Княжна поняла, терпение Задора иссякло, и улыбнулась ему. Он вопросительно взвизгнул: «Я правильно понял? Уже можно?!» «Искать!» –

подтвердила она. Едва шевельнувшийся куст указал след исчезнувшего пса.

Ненагляда расположилась неподалёку от буйно цветущей груши. Ничто не мешало дереву вольно раскинуть в пространстве свои ветви. Пчёлы, казалось, застыли над грушей прозрачным золотым куполом, и воздух, благоухавший нектаром, тихо-напряжённо гудел от миллиона трепещущих крошечных крылышек. Княжна освободилась от ноши и пошла поплескаться в чистой и холодной воде – усталости дня как не бывало...

Плеск воды не помешал княжне расслышать отдалённый встревоженный лай Задора, потом короткий взвизг. Она полоскала свою одежду, развешивала её по кустам, а сама всё прислушивалась. Купанье и стирка пробудили аппетит. Она достала из котомки калач, но есть одной, без товарища (что ж с того, что товарищ – собака!) было бы обыкновенным грехом тайноядения (нянька княжны о том, что есть грех, потолковать любила). Недогляда всё же отщипнула корочки, чтобы пососать и тем заглушить голод, а пока отправилась поискать земляники – уже появилась. Кулёк, свёрнутый из лопуха, быстро наполнился алыми крупными ягодами. Задора всё не было. Она отщипнула ещё крошку, стала жевать и удивилась: как же раньше не почувствовала в хлебе горчинки, ещё отщипнула, ещё пожевала – нет, всё же горчит... Начала заедать земляникой. Привалилась спиной к своей котомке, какие сладкие, сочные ягоды – сразу сняли всю горечь; вздохнула, смежила вежды и... заснула. Лист лопуха выпал из расслабившихся пальцев, ягоды багряным горохом рассыпались по белому полотну рубашки.

У Фома не было никаких охальных мыслей, просто хотел, наконец, спокойно насладиться созерцанием сво-

ей любезной. Она была прекрасна, как свежесрезанная водяная лилия. Трогательны были тени на исхудалых ланитах. Фома приклонился ещё ближе; так и обдало его земляничным ароматом из приоткрытых уст... Не устоял!.. Потом воздымал руки к небу. Ревел в голос: «Прости, окаянного! Всё честь по чести хотел! Лада моя, Ненаглядушка!» Уревелся вусмерть и захрапел, успел однако укрыть княжну своим кафтаном. Пришла в себя Ненагляда при звёздах. Никак не могла понять: с ней что-то произошло? Она же ничем не укрывалась!.. И что сковывает ступни её ног? Княжна попыталась сесть. Голова кружилась. Что это, кто это – свернулся клубком в ногах? Задор? Фо-ома?! Укутал ступни её ног своей бородой, обнимает лодыжки и сладко похрапывает. Ненагляда шелковинкой выскользнула и пошла к ручью. Мылась ожесточённо, словно хотела содрать с себя кожу. Но где же Задор, что с её преданным стражем? Будь он рядом – разве бы посмел этот приблизиться, не то что прикоснуться?! Ненагляда всё делала стремительно и бесшумно. Когда собирала с кустов просохшую одежду, что-то тяжёлое, мягкое и тёплое привалилось к её ногам. Она не испугалась – Задор, что же, кто же ещё... Присела, обхватила за шею, зашептала: «Уходим! Т-шш! Уходим, Задорушка!» Несколько мгновений, и княжны с Задором на поляне как не бывало. Они перешли ручей и растворились во тьме.

Не один год искал Фома Неверный следы княжны. Пустые хлопоты! Никто нигде не видывал, не слышивал. А уж сколько он сам изрыскал лесов и предгорий. За эти годы Фома так преобразился, что в нём узнать было не можно прежнего гуляку-неверю. Очень ничего себе благообразный мужик стал. Будто никогда не пил-не гулял-девок не имал.

И вот пришла Фоме в голову, наконец, здравая мысль: не рыскать надо, а затаиться в некоем мес-

те, где она (очень вероятно, что это – Хрустальный ручей!) бывает.

А к слову, добиваться-то – это добивать себя, вот и получается, что, добиваясь своего, Фома стремился добить себя... Однажды после большого урагана, вывозя своего хозяина через бурелом, конь Фома спотыкнулся, сломал ногу и придавил хозяина. И так они лежали изрядно долго. Конь тихонько и виновато ржал; громко стонал хозяин: «О-о, услышьте хоть кто-нибудь!» В чаще мелькнула девочка, блеснули испуганные глазки. «Помстилось...», – подумал Фома и застонал громче. Вскоре к страдальцам пробрались женщина с той самой девочкой. Та смотрела на всё уже без испуга, но с любопытством. Женщина подрезала подпругу, сняла седло и стала ладить из бересты лубок для сломанной ноги коня, после забинтовала перелом травами. Хозяин давно перестал стонать и выпученными глазами пожилрал женщину и девочку. Наконец, выдохнул: «Моя?» Женщина рассмеялась. Фома взвился: «Вы – мои! Я вас ищу столько лет! Девочка – моя!» «Де-евочка твоя? Да от тебя только крепкие орешки-парнишки родятся! Так что – мы не твои и ты не наш. Сиди не рыпайся, мы пришлём подмогу». Фома было рванулся к Ненагляде с воздетыми руками. Из-за комля вывернутого с землёй дерева безгласно вымахнул Задор и вцепился в ляжку. «Фу!», – сказала княжна псу, а Фоме: «Не ори и не рыпайся! Это тебе за твое вероломное зелье! Ты думаешь мы с Задором ничего не поняли?!»

Тут у Фома в памяти всплыло, как Бабуся-Ягуся предварила, давая, своё средство, мол, по краю ходишь, чуток – и сам пропадёшь. И добавила Ягуся: «Знашь, поди, кака слава обо мне...». А из раны на ноге Фома уже струей лилась кровь, и из неё проворно выползали ... зелё-

но-перламутровые веточки... облепихи. Лезли из ушей такие же тонкие, сначала голые, на воле они сразу распускались и начинали ярко зеленеть. Вот уже буйно закустилась борода. О том, что это был только что человек, Фома Неверный, вопили только выпученные ужасом глаза. Миг – и из них выстрелили зелёные побеги.

Так они все и остались – человеки и любящие их звери. Облепиховым колком.

... Жизнь – она и черновик, и работа над ошибками, и беловик, и опять черновик, и очередная работа над ошибками, и опять попытка беловика... Но Божественно чистой, второй жизни – чтобы прожить наново – не будет. Этим тоже: каждому дан был свой век, живи как человек; всё было дадено им; они и жили как могли, как сумели.

Теперь будут жить облепиховым колком у Хрустального ручья.

И на отшибе неприкаянным, ощерившимся во все стороны кустом – Фома.

Ну, и чо? Да ничо. Судьбу свою на кривой козе не объедешь. Разве что со Всевышнего промыслом. Вот чо.



ПРО ЦЫГАНА

Когда-то, в старо-стародавние времена было за горами-за борами, почти посреди земли, вольное, весьма и весьма хорошее поселение. А церковка на высоком холме над рекой – голая лепота! А уж колокол, когда благовест завывивает, – так это душа к небу возносится. Жил там народ бесхитрошный и радостный. И уж у них если «да», так точно «да», если «нет» – так «нет». Хлебушко сеяли. Скотинушку держали. Жили мирно. При встрече друг дружке любезно кланялись. Детушек в послушании растили.

Какую Небо погоду ни пошлёт – за всякую благодарили. А если наводнение или вдруг пожар, все одной семьёй на беду набрасывались. Всяк всякого видел. Никого не упускали. Только всё приговаривали: «Чо жаловаться-то! На ково приходить! Знать, сами, грешные, виноваты. Прогневили Небушко».

Свадьба ли, похороны – тоже на особину никто не выбивался... Так и жили-поживали, большого горя не знавали.

Сами в иные края не рвались. Да и к ним никто не заезживал. Разве что раз единый и было: проскакал через их безмятежное поселение цыган – в поисках места для своего табора.

...Времени так прошло немеряно.

И случилось правнуку того цыгана, Тагару, сквозить через то же поселение с тем же устремлением. От прадеда правнук Тагар (а у него уже и свои внучата – целый выводок! – подрастали) не раз слышивал и помнил, что путь лежать будет через это обетованное селение, и Тагару было любопытно посмотреть на такое безмятежное место.

Но что же предстало его цепким горячим очам? На холме – храмик с покосившейся колоколенкой, с отверзтыми дверями, а в двери никто не входит и из них никто не выходит; в долине – ветряные мельницы – словно большие птицы с перебитыми крыльями; ни из одной трубы не курился дымок, хотя утро было не самое раннее, и в домах должны были бы хозяйки уже высаживать в печи хлебы; а – ни одной живой души, ни старого, ни малого нигде видно не было... И – без-го-ло-са-я деревня. Ох нет, один голос всё же звучал – это церковный колокол на покосившейся колокольне, покачиваемый ветром, что-то сам себе тихо пел или оплакивал кого-то... Тагар почувствовал, что рано поседевшие волосы на его голове, курчавые и жёсткие, сами собой пошевелились. «Мор что ли здесь какой прокатился?» – подумал цыган вслух и направил своего Вещего Каурку вдоль главной улицы. Ворота распахнуты, двери растворены... Нигде никого. Вот и последний дом. На крыльце – вот диво! – первая живая душа: большой старый исхудалый кот. «Знать, здесь кто-то живой!» – Тагар спрыгнул с коня и взбежал по лестнице. Вошёл в незакрытую дверь: «Человеки, есть кто живой?!» Старческий голос, осипший от долгого безмолвия, через силу отозвался: «Чо за чудо, Восподи, неужто ишшо хто живой остался?»

Тагар пошёл на голос и обнаружил на печи дряхлого деда, помог ему спуститься, напоил водой, дал ржаной сухарь из своих припасов. Подкрепившись, старик поведал ему, как вымерло это селение.

...Повадился к ним летать, всегда неожиданно-негаданно, трёхголовый Змий, и на тот час всех охватывал смертный сон – люди как бы и не спали вовсе, да, они видели всё происходившее, и в то же время никто не мог шевельнуть даже пальцем. Змий уносил самых красивых девушек и детей. Потом взялся за женщин. Потом за мужчин. Последними забирал старух и стариков. И вот остался этот дед.

«Дак чо, сѣдни, стало, за мной прилетит, – спокойно сказал он, – а ты, мил человек, убирайся-ко скоряичо, он ведь другой раз такой голодный прилетает, что тут же на месте и сожрать может, малых детей прямо как конфетки глотаёт, так что поспешай, поспешай, а то и тебя та же участь постигнет!»

Тагар расхохотался, весело сверкнули его белые зубы на смуглом лице: «Ну-у, такая конфетка, как я, не по зубам этому летуну придется!»

Тут-то как раз всё и зашумело, загудело, затряслось. Влетел во двор трёхголовый Змий. Из каждой пасти – искры снопами. Из ноздрей – дым вонючий. Тагар вышел ему навстречу, руки раскинул, весело скаля зубы свои жемчужные: «И што, Гарыныч, сборнѣмся?»

А мысль у Тагара была только одна, как бы отвлечь внимание Змия от верного Вещего Каурки. Выкатив грудь колесом, ещё громче и наглее, Тагар подошёл почти к самым ноздрям средней головы Змия, и та фыркнула на цыгана целым снопом искр – да что цыгану искры, если он с детства, сидя ночами у костра, привык любоваться их горячими забавами и ловить, как светлячков. «Не слышу ответа, Уважаемый!

Так сборнѣмся аль нет?!» – повторил свой вопрос Тагар, а его Вещий Каурка давно понял замысел хозяина и как растворился в воздухе. «В третий раз спрашиваю, Уважаемый: сборнѣмся аль нет?!» – продолжал наглеть цыган. Чуть не хватил паралик Змия от невиданной дерзости, заикаться стал: «Этт-та как тоись? Я? С тобой? Бороться?!» Дед, выбравшийся на крыльцо, только крестился за спиной Тагара и самого Тагара крестом осенял: «Восподи, оборони! Восподи, не попусти!» «Да хто ты есть такое против меня!» – пыхнул гарью Змий на Тагара. «Не горячись, братан! – отвечал тот, привыкший к дыму костров в своей бесконечной кочевой жизни. – Если ты меня не боишься, так чего бы тебе и не сборнуться со мной, в самом-то деле?»

«О-о, наглец, – задыхался Змий, – ты меня допѣк! Ну, давай! Давай бросать камни! Кто выше?!»

«Давай!», – улыбаясь, охотно согласился Тагар. И пока Змий неуклюже суетился, выбирая покрупнее камень, цыган летучим движением снял с ветки скворушку, при этом птичка подмигнула ему и юркнула в его рукав.

«Ну, смотри, дурак!» – гаркнул уверенный в своей победе Змий, размахнулся и швырнул булыжник в небо. Да так высоко, что у деда, следившего за полѣтом, даже шапчонка с головы слетела: «Восподи! – опять перекрестился старик, – да рази жо человеку возможно такоё?» «Не бойся, папо!», согрел Тагар сострадатедем сыновним взглядом. Когда Змиев камень с грохотом вернулся на землю, цыган похвалил Змия: «Хороший был бросок, у тебя, братпшал. Ну, а теперь моя очередь! Следи!» – и стал бешено вращать свою руку. Змий загоготал: «И что же есть в твоей ручонке – маленький камушек?! Ну, ты точно глупец!» «Следи, говорю!» – приказал цыган, от-

чего у Змия все три пары глаз сошлись в одну точку, да так их и заклинило! И Змий таки-пропустил миг, когда вылетела птичка из рукава цыгана. Видел Змий, как что-то маленькое взмыло и устремилось в небеса, превращаясь в точку. И считал, считал... А из глаз его, змиевых, от невероятных усилий – не потерять из виду камушек – слёзы лились в три ручья... «Хватит, не считай больше! – пожалел Змия Тагар. – Мой камень в облаке застрял. Теперь его разве что громом во время грозы вытрясет».

Змий только кряхтел. Не мог он признать свой проигрыш: «А я зато вот так могу!.. А ты – сможешь?!» «Да я, брат, прямо уж и не знаю, чего бы я не смог», – скромно промолвил Тагар. «А вот такое ты видал-миндал?! Погоди, только камень побольше подберу... Вот я его так сожму, что он у меня песком рассыплется!» – объявил Змий.

И пока он камень выбирал, Тагар из тороков тоже вроде камень достал, в тёмную тряпицу завернутый. И так цыган ловко всё на глазах Змия делал, что Змий, и видя, не замечал. «Ну, выбрал, брат-пшал?» – спросил Тагар. «Выбрал-выбрал, – сердился Змий, – ты мне зубы-то не заговаривай: братом он мне заделался! Давай выходи на круг и учись, как это делается!» Змий на манер циркача поклонялся тремя своими головами во все стороны, хотя у зрелища был единственный зритель, да и тот, поглубже в тенёк забившись, только и делал, что крестился и бормотал: «Восподи, не попусти!» да: «Оборони, Господи!»

Змий взнял вверх три свои головищи, изрыгающие искры и пламя, из глотки его вместе с облаком дыма вырвался страшный вопль, Змий стиснул в когтистых лапах здоровенную каменюку, и затем чуть разжал их – на землю хлынул серый горячий песок. Змий снова испустил победный рык. Три пары змиевых глаз впе-

рились в цыгана. Теперь была его очередь превращать камень в песок. Тагар опять начал с похвалы Змию: «Да, брат-пшал, ты точно самый сильный из всех силачей на земле. Но превращение камня в песок – это так понятно. А вот ты посмотри, что я сделаю со своим булыгой!». Тагар зажал меж ладоней завернутый в холстину творог. Льющаяся из ладоней цыгана сыворотка заставила Змия оцепенеть. «Что, будем дальше состязаться?» – миролюбиво спросил Тагар. «А вот я умею ещё так свистеть, так свистеть, что листва с деревьев сыплется и птицы замертво падают!.. А ты так умеешь?!» – уже не очень уверенно спросил Змий.

«Не знаю, не пробовал», – честно сказал цыган. «Ну, ты тогда отойди подальше, что ли, – заботливо предложил Змий, – неровен час – голову твою снесёт свистом – ведь прямо, как бритва, всё срезает мой свист!»

Цыган отошёл к воротам, задёрнутым на заворину, встал к ним спиной. Тем временем Змий пыжился, надувал щёки всех трёх своих образин, прилаживался... Цыган тем мигом вытянул заворину из петель и положил её на них сверху.

Змий вытаращился, надул щёки и усердно засвистал. И впрямь с деревьев обильно посыпалась листва, и одна неповоротливая, несметливая ворона, которая не почуяла опасности, грохнулась перед Змием. Тот победно пыхнул струей копоты: «Во, видал-миндал! Теперь попробуй меня пересвистать».

«Говорю тебе, я никогда не пробовал... Но знаешь, что нечистый вытворяет, когда Бог спит. Ты же видел, и камушек мой, в облаках застряв, обратно не воротился. А булыжник горькими слезами плакал... Не знаю, брат, кто мне удачу и неудачу ворожит. Кто его знает, как у меня со свистом получится... Ты уж, брат - пшал, пока свистну, отворотись от меня».

«Да ладно тебе юрунду городить... Единственно, уступлю из жалости к тебе – чтобы не опозорился передо мной! – снизошёл Змий, и три головы его поворотились к цыгану затылками. – Ну, свисти уже».

Тагар тут же уцепил заворину и приложился лесинной изо всей-то моченьки по всем трём затылкам враз, заворину аккуратненько вложил обратно в петли.

«Айя-яй! Ойё-ёй! – бабьими голосами запричитали все три Змиевы головы. Цыган подошёл ближе и увидел, что зенки Змия, все три пары, выскочили из орбит и висят на ниточках. «Не реви, – деловито остановил вой страдальца Тагар, – сейчас пособлю!» – вложил Змиевы зенки обратно в зеницы, поплевал на них, похлопал сверху ладонями.

«Дда-а, ты сильнее меня, брат, – признал Змий. – А летим ко мне, не пробавляться же нам этим старичонкой! Я ещё прилечу догрызть эту косточку, если когда по дороге проголодаюсь. А пока – садись мне на спину да держись покрепче – полетим ко мне обедать. Ты – победитель, и я угощаю!» «Добро!» – рассмеялся цыган. «Рано смеёшься, ужинаем у тебя», – осклабился Гарыныч, – давай уже скорее усаживайся поудобнее, полетели».

«Косточка про запас – карман не тянет, – вроде похвалил Тагар, – только как же это я вдруг на тебе будто на какой лошади покачу, Уважаемый! Не пристало мне, простому цыгану, на тебе верхом гонять. Мне бы чего попроще – тройку, что ли, какую-нибудь!» Змию понравилась уважительность цыгана, и он великодушно сказал: «Ладно, будет тебе тройка!» Тотчас тройка прекрасных коней явилась перед крыльцом (хотя ворота заложены были на заворину). Три добрых коня нетерпеливо копытили землю: Сивка, Бурка и ... Тагаров Вещий Каурка, он чуть

покосился на Тагара и как бы и подмигнул даже. Ну, и взвились в воздух дружно: Змий Гарыныч и на полкрупка сзади – управляемая цыганом тройка.

...Никакой усадьбы или дворца у Змия Гарыныча не было. Был огромный с огромными оконными и дверными проёмами домина, похожий на шатёр. Хозяин влетал в окна и двери, когда ему заблагорассудится. Ни ограда, ни ворота, ни запоры были не нужны – кого Змию Гарынычу было опасаться?! Печей в жилище тоже и в заводе не бывало. Впрочем, нет, было где-то в самой середине шатра одно отапливаемое помещение – навроде «королевского блудуара». Обреталась там верная другиня Гарыныча... Игуселина. Когда Змий пребывал в хорошем расположении духа, он называл её «Игуся». Невероятное дело! В кои-то веки Гарыныч воротился не один, а с... гостем! Игуся пришла в невероятное волнение. Но решила до поры до времени гостю не показываться.

Змий распорядился: «Щас берёмся за приготовление обеда! Тут поблизости у реки пасётся табун лошадей, на лугу – стадо коров, подальше в холмах – отара овец. Что, брат, предпочитаешь: коровятину, лошадатину, овчатину?.. Или свинятину? – у меня ведь и свиньи в заводе есть».

Цыган замедлился с ответом. «Эх, ты, голытьба, растерялся от изобилия?! – всхриотнул Змий. – Ладно, я сам выбираю: будем трескать коровятину. Иди в луг, выбери, какая посправнее молодую корову и неси, волоки её сюда. Я пока по хозяйству займусь».

«Надо штой-то придумывать; раз хозяин сказал «неси», значит, и надо нести, а не вести за рога», – чешет седую курчавую макушку Тагар. А Змий из себя выходит – какой неповоротливый цыган! Поле-

тел Гарыныч на луг. Там цыган весело насвистывает и коров хвостами связывает. «А на фига?!» – взревел Змий. «Да чего там с одной коровой заниматься-то... Покушать – так покушать, на сотрапезника не оглядываясь!» – пояснил цыган. «Какой ты, брат, жадный, однако!» – уважительно покачалась средняя Змиева голова. Змий развязал коровам хвосты, а с одной ловко, как чулок, сдёрнув шкуру, бросил к ногам цыгана: «Во – наберёшь из реки воды. Что смотришь, брат! Шкура – это, считай, ведро!»

Настроения Змия менялись от любого пустяка. Сейчас цыган представился ему ужас каким бестолковым. Ждал-ждал он цыгана с водой у пустого казана, не выдержал, полетел к речке. А там цыган с громкой песней: «Цыганочка Аза-Аза, цыганочка черноглаза» канаву роет. «Ты очумел, паря?! Я тебя с водой жду, а ты?! Чем ты занят?!» «Одним днем ты живёшь, Гарыныч, и отстаёшь от жизни. Я тебе арык сотворяю, и вода сама к тебе придёт...». Гарыныч сплюнул кипятком: «Да мы подохнем с голоду, пока твоя вода к моему казану дойдёт! Дурачина!» Схватил Змий шкуру, зачерпнул в неё речной воды и полетел к своим поварским заботам.

Между тем, сидя в своём «ампираторском блюдаре», Игуселина катала по золотому блюду хрустальный шар и распрекрасно видела, чем занимаются хозяин и гость. И очень её это всё забавляло. Голод её не терзал: в одной вазе перед ней аппетитно поблескивали поджаренные мышарики, в другой вазе засахаренные – лягушарики; Игуселина время от времени кидала себе в рот то щепоть одного лакомства, то горстку другого. Между тем возле казана опять случилась заминка. «Кончается топливо, – сварливо сказал Гарыныч цыгану. – Дуй в рощу, выр-

ви первую попавшую березу и живо обратно: одна нога здесь – другая там. Живо! – я сказал!»

«У-уй, что же, я влип? – спросил себя недоверчиво Тагар, оказавшись в роще, – шалишь, брат-Гарыня! – почесал свою курчавую макушку, достал из-за голенища правого сапога нож, с которым никогда не расставался, и принялся срезать лыко с деревьев и вить длинную верёвку. Но не успел, конечно: прилетел Змий; готов был испепелить цыгана: «Что на этот раз?! На кой тебе верёвка?» «Гарыныч, ты же мудрец, ума палата, а простых вещей не понимаешь! Ну, что ты живёшь от растопки до растопки! Зацепил бы деревьев хотя бы пяток-десяток зараз и приволок! На сколько бы готовок хватило!» У Змия все слова кончились, махнул он на цыгана когтистой лапой как на пропащего, вырвал с корнем ближнее дерево и полетел к кострищу.

Игуселина, наблюдая за всем этим через свой шар, ухохатывалась...

Мало ли, много ли времени прошло, раздался торжествующий призыв хозяина: «Жранина – готова! К столу, – Игуся! К столу, – цыган!!!» Стол был неохватный, настоящие полати. Посреди стола, почти во всю его величину, красовался с высокими загнутыми бортиками серебряный поднос, а на нём возлежала дымящаяся корова. Целиковая!

Между тем никакая Игуся на зов хозяина не вышла.

Змий разворотил тушу на четыре части. То есть в каждой – по ноге. Две задние Змий подвинул себе, две передние – по одной на брата, как говорится, отложил всё на том же подносе, другине Игусе и, считай, названному брату цыгану. «С вами с голоду подохнешь! Где вы, телитесь, что ли?!» – рыкнул хозяин и, не дожидаясь сотрапезников, пасти всех трёх

его голов впились в коровьи ляжки. И больше Гарыныч уже никого не звал и даже не видел, сидит ли кто рядом с ним за столом и чем занимается. Змий жмурил свои зенки, чавкал, залезал когтистой лапой то в одну, то в другую пасть, выгребал застрявшие недоваренные куски и снова отправлял их, кажется, прямо в своё чрево, икал, рыгал. Пища клокотала, ходила ходуном во всех его глотках. Потом головы Гарыныча одна за другой повалились на опустевшие части подноса, и вот уже все три его глотки захрапели, будто недалёкий сытый бархатный гром раскатился по округе.

Тагар облегчённо перевёл дух и собрался свистнуть своему Вещему Каурке: мол, домой, дружок, домой. Но – неизвестно откуда зазвучал голос. Вроде женский, немолодой, не сказать, что некрасивый, но пробирающий до печёнок: «Вижу, вы не очень-то и голодный... Тогда спускайтесь к реке... Там есть беседка, и я вас там жду». «Игуся», – не без холодка в душе подумал Тагар. Ничего хорошего от Змиевой другини он не ждал.

Её алого шёлка наряд огнём полыхнул издалека. Этот наряд не имел рукавов, но зато роскошный шлейф не вмещался в беседке и совершенно скрывал нижнюю часть её тела. Тагар взглянул в лицо Игуси и едва не вскрикнул. Единственный глаз её, несоразмерно большой, ярко-зелёный, располагался в середине лба, прямо над переносицей. Глаз оттеняли соболиная бровь и длинные пушистые ресницы. Левого уха не было вообще – просто щека переходила в затылок. Впрочем, правого тоже как бы не было. Единственное ухо Игуси располагалось над темечком и легко поворачивалось во все стороны. Кожа лица была младенчески-чистой, и розовые губы казались воплощением невинности.

«Не чудо ли? – обратилась к цыгану Змиева другиня, – у меня всё в единственном числе и уникально: глаз один – зато видит вкруговую и на тыщу вёрст, а зелёный цвет его выдает мою связь с ТЕМ миром; ухо моё различает мильён звуков и от него не ускользнёт ни малейшего шума; у меня одна нога, но я передвигаюсь на ней быстрее, чем Гариковы Сивка-Бурка. Зато в помощь мне мои руки – посмотрите, какие у меня плечи, они с моей спиной – как крылья летучей мыши. Я практически летаю, а нога моя, по сути, руль. У меня ведь и сися, грудь то есть, тоже одна, зато какая! – я могу вскормить кучу всякой малышни... Могу показать вам мою богатыршу...».

«Зачем же... Я верю», – пробормотал Тагар. У него кружилась голова, начало подташнивать. «Причем тут вера?! – недоуменно вскинула свою одинокую соболиную бровь Игуся. – Вам такое больше никто не покажет – неужто не интересно?!» «Старый я таким интересоваться. – (А у самого мелькнуло в голове: мол, хоть и говорится, седина в голову, бес – в ребро, он, Тагар, хвостатого-рогатого под свои рёбра не впустит!) – Внучат – счесть не могу... Кстати, Игуселина, вот я хотел спросить у Гарыныча... но он задремал...» «Задремал бы Гарик, если бы Игуся не постаралась, – усмехнулась другиня. – Ладно, спрашивайте, может, ответу...»

«Сколько у Гарыныча стад!.. Что за нужда ему питаться людьми?» – Тагар подбирал слова, чтобы не обидеть Змиеву другиню. Она отвечала, поигрывая алым шлейфом и то приоткрывая, то снова запахивая колено своей белой мускулистой ноги: «Это – лю-уди?! Они же все уроды! У них по два глаза! По два уха! У женщин – по две сиси! – как видите, мож-

но обходиться без всех этих излишеств...Зачем уродам жить, правда же?!» Холодный кипяток klokотал в крови цыгана. Словно клинки, скрестились взгляды: её – зелёного ока и его – чёрных глаз. «Между прочим, я тоже урод, – процедил сквозь зубы цыган. – Не угодно ли отведать человечинки?» Игуселина положила свою тяжёлую холодную ладонь на плечо Тагара: «Ух, какой горячий, какой трепетный! Да, урод, но вы мне нравитесь. Кстати, о человеческом мясе... Я его даже не пробовала... Даже обезьяньего мяса я не смогла бы, как изъясняется Гарик, трескаться. Всё же смущает меня, надо признать, наше сходство... Ну, ладно, хватит о пустяках, почешите лучше меня за ушком. Признаюсь, это самое у меня чувствительное место, а Гарик со своими когтями, как ни старается, всё же очень неловок!»

«Не уверен, что Гарик в восторг придёт, узрев, как я другиню его ублажаю», – угрюмо промолвил Тагар. Гуселина захохотала и вдруг, оборвав свой хохот, сгребла цыгана поперёк тела пониже подмышек, и резво поскакала к Змиеву шатру – только алый шлейф развевался по ветру.

Они просвистели мимо стола, где проснувшийся Гарыныч хрустел коровьими холками, к которым не притрунулись в обед Игуся и цыган. Поглощённый доеданием остатков, Змий единым оком не повёл на проскользнувшую в шатёр пару. Влетев в «блудуар», Игуселина небрежно швырнула свою ношу на покрытое шкурой белого медведя лежбище. Тагар мгновенно, как Ванька-Встанька, вскочил. Игуся, смеясь, его разглядывала:

«А что это сверкнуло в вашем ухе, спрятанное кудрями? Серьга? Как интересно! Подарите на память!» Тагар порадовался, что она не заметила на его шее, спрятанного под рубашкой, кожаного мешочка с се-

ребряным маленьким складеньком – на одной стороне Николай Чудотворец, на другой – Георгий Победоносец. «Э-э, муча, кошечка, – с преувеличенной горячностью отвечал цыган, – серьга – это моя тайна, мой талисман. Он бережёт меня. Как же я могу расстаться с ним!.. Ну, в самом-самом крайнем случае, могу разве что обменять на что-либо, столь же дорогое для вас».

Игуся оценивающе воззрилась на Тагара своим зелёным оком, долго молчала, потом, растягивая слова, проговорила: «Да-а, в моём «блудуаре» тоже имеется такой предмет. Подороже вашего, между прочим... В нём – тайна не одного человека, а целого исчезнувшего поселения...». – Тут Игуся буквально захлебнулась кровью, прикусив язык.

«Какая там тайна! – деревянным смехом закатился цыган, – пожрал всех Гарыныч – да и дело с концом!». «А вот и не с концом», – опять вырвалось у другини, и она прихлопнула ладонями свой окровавленный рот, а взгляд единственного её ока так и примёрз к хрустальному ларцу; через резные стеночки его можно было угадать цветные не то косынки, не то ленты.

Игуся вдруг расслабилась и сменила тон: «Так решитесь ли вы, наконец, почесать у меня за ушком?!» «А то! – задорно отвечал цыган. – Прямо щас и начну! Извольте вам лечь на животик, а головку положите на бочок, на подушечку. Сначала я угощу вас цыганским лакомством...» Игуся послушно улеглась, как её просили, головку на бочок, рот открыла. замерла в предвкушении неизведанного.

Цыгана ли учить ловкости рук и стремительности движений?... Всё дальнейшее произошло почти одновременно. Тагар едва коснулся пальцами единственного уха Игуселины, как она замурчала – громко и победительно, ни дать ни взять – здоровенная камышовая

кошка. Из-за широкого кожаного пояса Тагар мгновенно вытянул кисет с табаком и всадил Игусе в рот, плотно стиснув челюсти. Одним движением сложил её руки замком пониже спины, сверху подтянул согнутую в колене ногу и туго обмотал плетью (он всегда носил её за голенищем левого сапога). Последним движением накрыл Змиеву другиню алым её шлейфом – с головой. Теперь Игуселина не могла ни видеть, ни кричать, ни передвигаться. Она могла слышать, но то, что достигало её ушей, просто приводило в бешенство. Бессильно ворочалась и дёргалась она на медвежьей шкуре. Ещё в одно движение Тагар вынул содержимое хрустальной шкатулки и сунул себе под рубаху. Другиня не сказала, как этими вещами пользоваться, и он уповал только на провидение. Перед тем, как покинуть «блудуар», Тагар снял с уха серьгу и как колечко надел на безымянный палец Игуселины, присовокупив слова: «Цыган обещал – цыган выполнил». Конечно, о том, что это никакая не заветная вещь, а обыкновенная серьга, купленная им самим как-то в юности на ярмарке, Тагар умолчал.

В это время, расправившись со второй половиной коровы, Гарыныч в три языка вылизывал свой любимый серебряный поднос. Заметив Тагара, выходящего из шатра, подозрительно спросил, не в «блудуаре» ли Игуселины цыган ошивался? «Почему ошивался, Уважаемый, мы просто беседовали. Я приглашал вашу другиню на ужин в наш табор. Жаль, но она отказалась. Сказала, что ей интереснее катать хрустальный шар по золотому блюду, говорит, ничего милее нет этого занятия».

«Тогда летим к тебе, брат! – тяжело дыша, командовал Гарыныч. – А Игуська пусть себе развлекается. – И свистом вызвал тройку. Цыган сел на коренного, Змий попытался взгромоздиться в повозку – не влез. «Уважаемый брат-пшал, тебе для раз-

грузочки лучше бы на собственных малость пролететь», – осторожно посоветовал Тагар. «Пожалуй что, – угрюмо согласился Гарыныч, – правда, вроде перекушал маленько», – и полетел тяжело, задевая лапами за вершины деревьев и спотыкаясь о высокие холмы. «Ну, цыган, или привал, или поворачиваем обратно, куда подевался твой табор?!» – почти взмолился Змий. «Брат-пшал, ты молодцом держишься, нам осталось только перелететь через вот этот увал. Он самый высокий, но он – последний, и сразу за ним у его подножия – наш табор».

Перевалили через увал. Открылась равнина, кольцом друг за другом расположенные цветные кибитки. Дым костров. Яркие наряды женщин и цветные рубахи мужчин. Весёлый говор. Звон гитары. Смех. И множество ребятишек. Они первые увидели снижающихся наискосок по склону увала тройку, управляемую Тагаром, и еле трюхающего, цепляющего лапами траву Змия Гарыныча. Все силы его ушли на переваривание коровы, и высечь из своего нутра искры и пламя не получалось. Гарыныч просто пыхтел.

А цыганята, ликующе вопя, ловко взбирались вверх по склону. Гарынычу показалось – это ожившие опять. Темноголовые, загорелые, тощенькие, они дружнёхонько, плечиком к плечу, облепили Тагарову повозку, его самого и... даже Гарыныча. Как ясные угольки, горели их чёрные глаза, белее снега сверкали острые молодые зубы. До всего докапывались их сильные проворные пальчики. «Папо, папо (деда), смотри, из них можно украшение для рукоятки ножа сделать!» – радостно сообщал один шкет, пытаясь оторвать чешуйчатую пластинку со спины Змия; другой тоже самое творил на затылке средней головы Гарыныча; третий пробовал скрутить в трубочку ухо

на левой голове и дудеть в него; четвёртый щекотал под горлом: «Папо, я его расхохотать хочу, посмотреть, как он смеётся!» «Да это чертенята! – в изнеможении вскричал Змий Гарыныч, когда они спустились в долину. – И чего они все так ужасно орут?!» «Голодные же, – с улыбкой пояснил Тагар. – Я обещал им привезти много еды – и вот привёз тебя, Уважаемый. Посмотри, какие они худышки, как изголодались, и какие острые у них зубки – я трубки искурить не успею, как они тебя разберут до последней косточки. Если ты ешь человечину, они с таким же удовольствием – змеятину, и считают, что это – самое вкусное мясо».

«Похибаю! – хрипел Гарыныч: теперь уже несколько парнишек старались «расхохотать» все три Змиевых горла. – Похибаю!!! – гоготал и рыдал Гарыныч. – Выручай, брат-цыган!» «Щас! Сам себя выручишь! Смотри, видишь за табором вдоль увала зеленеет озеро? А пострелята мои воды страсть как боятся, ты сделай вид, что идешь на глубину – они сами с тебя пососкакивают». Цыганята облепили Гарыныча, как комары, щекотали немилосердно, просто продохнуть не давали. Да подхватились тут еще собаки, Змииный дух зачуявши, прямо за ягодицы рвут, пластают, клочья летят от Змиевых ляжек во все стороны. С горестным воем ввалился Гарыныч в воду. Ребетня моментально поспрыгивала с него и торжествующе вопила и скакала на берегу. А Гарыныч, обрадованный, что, наконец, избавился от докуки, старался забрести подальше, поглубже, чтобы стать надёжно недоступным для своих истязателей. Он и стал недоступен. Ведь брёл он не в озеро, а в болото. Которое стало с той поры называться Змиевым.

На том сказке не конец, однако.

Была у Тагара пра-прабабушка, Ягори ее звали, что «огонёк» означало. Прежде всего, она и впрямь смолоду была настоящий огонёк – родилась-то она ярко-рыжей, просто огненной; и по натуре зажигательная; а словцом так обожжёт – долго ожог саднит, ибо нет от него никакого утешительного пластыря; но главное – жил в Ягори огонёк памяти их цыганского рода: события, сказания, притчи, рецепты, заклинания, приметы и множество всяческих знаний. Мама (бабушку) Ягори не просто любили, почитали, боялись и беспрекословно слушали, без неё в таборе просто не мыслили жизни. К маме Ягори прежде всего и подошёл Тагар.

«А-ай, с цветными платками – всё прозрачно, чяво, сынок! С красным платом надо идти в табун, в нём спрятаны мужчины, с голубым – в стадо коров, понятно, там женщины, с белым – в отару, к овцам – там спрятаны дети... Игуселина (родное её имя «Лила») – задача посложнее. Дочка цыганского барона. Украдена была ребёнком для Гарынычей, чтоб сделать из неё красавицу по их представлению... А-ай, да ты видел эту красоту!.. Бедная девочка не помнит себя другой... Даже если вернуть ей облик её, он будет для неё чужой, враждебный, она вообразит, что её изуродовали...

...А-ай, да што вы не знаете разве, дело не скоро в жизни делается, а в сказке всё пролетает, как во сне.

Обезлюдённое трёхговым Змием блаженное селение возродилось и приобрело себе имя «Цыгановка». Было в нём всего две равно прекрасные на свой манер улицы: «Верховка» на высоком берегу, чолдонская, и «Подгора» – на низком берегу, ещё называли её «Тагаровка», цыганская. Люди в этих улицах жили неслиянно, мятежно, всяко-разно, но, в конце концов, дружно и весело.

Вместо маленькой старой церковки поставили новый большой храм с высокой колокольной. Ветряным мельницам вылечили их крылья. Появилась кузница. На Николу Вешнего стали устраиваться ярмарки. В Цыгановку с разных сторон дорожки проторили ...

И – как гром среди ясного неба...

Проснулись обитатели Верховки, глянули вниз, на другой берег, на своих соседей, улицу Подгора – что-то стрёмно им стало. Будто вот лежит твой друг на лавке, ну как есть живой, а не дышит...

В самый глухой час ночи снялся табор и как растворился в тумане.

Ни одно колесо не скрипнуло, ни одно копыто не топнуло, ни уздечка, ни котелок не звякнули, ни лошадь не ржанула, ни собачка не тявкнула, ни младенец не пискнул. Без ссоры, без скандала, без маломальской зацепочки...

И оставили после себя три следочка.

Кузню.

Могилку Лилы.

И имя поселению – «Цыгановка».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сибирский тракт. Качается на колдобинах кибитка. Ягори посасывает трубку. Под правым локтем Ягори мальчик, Янко, под левым локтем – девочка, Марьяна. Все трое свесили ноги. Янко вырезает из деревяшки медведя, задумчиво: «Мама Ягори, а там, куда мы едем, там будет лучше?». Марьяна, смеясь: «Глупый мальчишка, это не имеет значения! – она схватила бубен, изобразив на нем кусочек та-

рантеллы, – всегда лучше двигаться, чем кочками сидеть на одном месте!». Мама Ягори любовно потрепала кудри Марьяны: «Единственно цыганам определил Царь Вседержитель местом проживания всю землю, без всяких границ. Живите, как птицы небесные, пойте, танцуйте, радуйте людей. Стойко переносите невзгоды. Но, всегда – радуйтесь!.. и – славьте Создателя!»

Деревня Цыгановка. Улица Чолдонская. Утро. Во дворе на травке примостились к бабушке Агафье внучата Нюра и Олёша. Между ладоней согнутых в локте рук Олёши натянут моток пряжи, Нюра сматывает пряжу на клубок. Бабушка вяжет носок, только спицы позвякивают. И все трое – лицом к Тагаровке. Грустно смотрят на опустелый, берег. Нюра, в глазах слезы: «Баба Оганя, а чо оне уехали?» Олёша, насмешливо: «Чо-то тебя не спросили!.. Ты ишо поплачь!» Бабушка: «А оне никого не спрашивают – таки люди ни к чему не прирастают! Так что плакать не об чем и ликовать причины нет...»



ПРО МАКОВКУ

Жили да поживали в одной деревне Матвеюшко да Маковеюшка, парочка хорошая. Не ссорились, не ругались, с хлеба на квас перебивались. Матвеюшко помечтать любил. И уж как бывало замечтается, то ничего уж и не видит, и не слышит, и всё у него из рученок само собою валится.

А Маковеюшка, тёплая душа, поутру проснувшись, пуще прежнего спать хочет. Сядет это она корову свою, Тихоню, доить, да и уснёт над подойником, головой в коровий бок уткнувшись.

Или пойдёт скотину в стадо отгонять, полуоткроет ворота, к столбу прислонится – и уже похрапывает.

А то хлеба в печь начнёт высаживать, да так с лопатой в руке, животом на шестке, и уснёт.

Или, бельё постиравши, станет развешивать. Разбрасает по тыну кой-как две-три тряпицы, и уже гляди-тко – за кол уцепилась, стоя, с открытыми глазами спит. Хорошо, если кто погодится и, сжавившись, засоню отцепит.

Сойдутся вечером Матвеюшко с Маковеюшкой – а кусать-то и нечего.

Матвеюшко днём, замечтавшись, забыл, за чем в

лес ходил, и без хворосту воротился, вот и не на чем было Маковеюшке хотя бы картоху сварить.

Маковеюшка Тихоню, когда та из стада воротилась, кой-как выдоила, и под самый-то конец заснула, сама же бадейку с молоком и шваркнула, молока в бадейке разве что кошке полакомиться осталось.

Можно было бы хоть по сырому яичку выпить. Принёс Матвеюшко решето с яйцами из чулана и вместо полки на лавку поставил, а потом они с Маковеюшкой, обнявшись, – так соскучились они за день друг по дружке, в это решето и сели.

Думаете, реветь стали? Да ничуть не бывало. Хотать над собой взялись. Нахотались досыта – с тем и уснули, друг дружкой шибко довольные.

И вот люди в деревне гадали: это кого же такая расчудесная парочка – Засоня да Забываха – на свет произведёт?

Однако по прошествии времени родили-таки они себе девчоночку, да такую славную, спокойную, такую разумницу и хитровку.

Растёт не по дням, а по часам. Глазки чёрненькие, щёчки алые – прямо маков цвет, волосики сами в косоньку заплетаются. А назвали девчонку Маковка.

Маковка эта не в родителей пошла – хозяйка, хлопотуха. Никакая нелепота от её черных глаз не укроется. И дом родительский, и подворье, и полоска земли с луговинкой, как единственной наследнице, ей достаться были должны; Маковка это чуть ли не с пелёнок уразумела, и всё о лепоте старалась.

И вот дивно что ещё, бывало, кто начнёт над ней, клопёнком припевать, жалеючи: «Да махонька ты така, каки же родители тебе достались неудельные, нерачительные!»

А Маковка на жалетеля воззрится своими чёрны-

ми глазками, звёздчатыми, до самого донышка в душу жалельщика забираючись, и спросит невинно:

– Дядюшко, чо ли жалко тебе меня?

– Жалко, дитятко!

– Дядюшко, а ты хлевок наш помоги подправить, а то крыша течёт, и дождик коровку нашу, Тихоню, мочит.

Ежели жалельщик не мужик, а баба, Маковка тоже не растеряется:

– Тётечко, чо ли тебе горестно надо мной?

– Горестно, милая, горестно!

– А ты не горюй, тётечко, ты лучше сбей мне маслица – я тут сметанки наснимала, а сбить не умею.

И всяк от души помочь Маковке старается.

Крылась в девчонке какая-то сила обаятельная. От каждого Маковка помощь с такой благодарной улыбкой принимала, что сделать для неё вдесятеро больше хотелось. Бывало, вынесет кружку молока, ломоть ржаного хлеба, круто чёрной солью посыпанного: «Чем богаты...», – только и скажет. И говорили люди, что слаще того молока в жизни не пивали. За кружку молока того с утра до ночи ломить были готовы на Маковку.

Сказывали, особое состояние души от этого молока проистекало: жизнь приятнее и веселее казаться начинала, кураж такой в человеке перед самим собой, перед своей жизнью появлялся...

И сам того не замечая, будто истаивал человек. Вот уже одна тень, а всё на Маковкино подворье тянется, хоть бы какое малое заделышко ищет:

– Восударыня, что бы ишшо исделать?

А у Маковки всё уже давным-давно людьми переделано, всё сверкает, всё исправно-излажено, zakрома и сусеки от припасов трещат, полки ломаются.

Но никого не гонит, не обижает отказом Маковка, усмехается лишь:

– Вроде сегодня, дядечко, не к чему руку приложить... Вот разве... шерсть ещё на разок перетеребить али кудельку вычесать, чтобы прядево помягче выходило.

И вот чей-то благородный отец семейства сидит гордый на крыльце Маковкина дома, на виду у всей деревни и на манер старой старушки шерсть теребит, готовит для прядения.

Уж Маковку не то что не любить, а бояться в народе стали и окрестили «Сонная одурь». Сына ли, брата ли, мужа ли, отца ли до полуночи нет – так и знай, явится Маковкиным молоком опоённый с дурацкой улыбкой и проклятым именем на устах: «А мы это... Маковке помогали маненько... Тяжело ей одной со стариками-то блаженными лямку хозяйства тянуть!»

«Так что замуж-то не идёт – вон какая тёлка выматерела! Сирота – не пролазит в ворота!» – злились бабы.

«Выйдет ишшо – каки её годы! Да легко ли такой распригожей выйти! Ай, она не распустёха какая вроде вас!» И безо всякой пользы было говорить такому помощнику, что у него на собственном-то подворье коровник совсем разваливается и последние дровишки кончаются, и завтра сенокос спозаранку, а косы не отбиты, проржавлены с прошлого лета валяются.

Вся жизнь в деревне из-за этой Маковки наперекосяк пошла: свары, ссоры, драки кровопролитные.

Вот бабы и пошли начистоту поговорить с Маковкой – не оборотень же она, должна их понять, своя же, деревенская.

Маковка вышла к ним на крыльцо, смиренная, в пояс поклонилась, в горницу провела, усадила. В

лице – сиротская робость, в голосе покор и уважение, глаз не подымает, молчит, будто онемелая, будто казни ждёт. Бабы довольны – ведь они чуть ли не к рукопашной приготовились. Но видят, Маковка вроде и так виноватой себя сознаёт, подрастерялись, позакашливали. Волей-неволей первыми начинать беседу надо, карты свои раскрывать.

Самая видная из себя в деревне и вострая на язык Василиса-Разумниса молчание, как туман, развела:

– И как же тебя хватает, девонька, везде одной поспевать?

– Ох, не говорите, тётечко! Какое там, хватает! Вон холсты лежат – не отбелены, куделюшка не оттрепана, кроснеца – не собраны, кружева брошены, не довязаны... Работушки выше моей бедной головушки!

Стоит с опущенной головой Маковка перед бабами, чёрная коса до пят через плечо на грудь перекинута. Руки работающие виновато вдоль тела висят.

Не одна из воительниц подумала: «Таку бы сноху в дом – беды не знать!» И гости вдруг подхватились, одна за другой заподымались и – за... работушку! Кто за прялку, кто за пальцы, кто за коклюшки, кто за валёк с катком, кто за кросенца... Прядут, вышивают, плетут, гладят, ткут. Да не кое-как, а друг перед дружкой из кожи лезут, ещё и песню про Дуню-тонкопряху, на голоса, завели. Василиса-Разумниса ярче всех выводила! Кстати, и коклюшки у неё в руках сами мотив выкакивали!

Наработались всласть до устали. Низёхонько Маковке поклонились и каждая выполненной работой похвалилась. Лица у работниц такие были, будто великую милость им Маковка оказала. Она тоже покло-

нилась им, причём до земли, обнесла всех парным молоком вечерней дойки. Бабы пили, утирались и опять кланялись. И ниже всех Василиса-Разумниса. Потом чинно удалились и даже не вспомнили на другой день про свой поход «на Маковку».

Но прошло время, и сошлись как-то бабы у реки, на мостках, где бельё полощут. Василиса-Разумниса оглядела всех, хлопнула себя звонко по крутым бокам:

– Бабы! А что это с нами тогда содеялось, у Маковки-то? Ловко одурманила нас девка-бесовка! Цельный день мы на неё, аки рабыни, отпахали! Да ей же ещё и кланялись! За что благодарили, спрашивацца? А давайте-ко на неё Восударю челобитную пошлём!

Послали. Сына своего Василиса-Разумниса заставила челобитную эту самолично отвезти.

Накатилась Восударева комиссия – Маковку врасплох поглядеть, чем она пробавляется.

Ан у неё, у милой, всё без зацепочки.

Старички-родители её, Божии одуванчики, чистенькие, ухоженные, обласканные, этак благостно обнявшись, сидели на завалинке под окошечком. Как всегда спали с открытыми глазками. А может, мечтали – не поймёшь.

– Кто такие, злодейским молоком опоённые?! – кричали проверяльщики.

Народ, который сбежался смотреть, как с Маковкой расправятся, и который жаловался на неё, сам же стал возмущаться:

– Каки ишшо опоённые?! Это родители её блаженные – Матвеюшко с Маковеюшкой!

– А чего это вся изба деревяшками колдовскими-злодейскими перегороджена, нитями переплетена – для какого бесовского умысла?

– Да какой ишшо там бесовский умысел, – испугался народ. Деревяшки-то такие почти в каждой второй избе, стало, любого облыгнуть можно. – Кросны это, для ткачества предназначены. В крестьянской избе разве диво?

– А это что за тайные бесовские струменты? Подушки, колёсы, костяшки, крючки!

Тут уж народ смеяться начал:

– Да незнамо что говорите-то! Это – пальцы для вышивания. Коклюшки для кружевоплетения...

Василиса-Разумниса тут наперёд выступила:

– Вот их двое на завалинке-то, ртов. Душки ангельские, а тоже кушать хотят не через день. Их напоить-накормить надо не абы как...

– Сами жаловались – сами защищаете... В уме ли вы? А что вам надо-то?

Тут сама Маковка голос подала:

– Денёк-то как распалился! Может, господам проверяльщикам жажду утолить жалательно? Может, молочка холодного, прямо с ледничка?

– Ага! – обрадовалась комиссия. А ну, тащи сюда своё злодейское молоко! Выводить тебя на чистую воду будем!

– Вот вам Небушко-судия, воспода хорошие! – воздела Маковка к небу свои работающие руки (при всех помогающих никогда она не сидела бездельно). – Какое злодейство, видите жо: вон во дворе на травке козочки мои беляночки, Божии творения, и молочко от них никакое не злодейское... Козье-то молочко – оно самое жирное да сладкое. Отведайте, не смущайтесь!..

– Глотни первая! – приказал старший.

Отпила Маковка глоток. Уста рукотёртом промокнула.

– Скусно, – сказала. – Холодное. Но не померла. Видите!

Комиссия осторожно отведала. Посидела, помолчала и допила, передавая крынку друг дружке из рук в руки, до донышка.

Усы проверяльщики обтёрли, старшой произнёс: – Честное молоко. Козье. Сладкое.

Ни с чем комиссия уехала и ни с чем народ в деревне остался.

И всё по-старому шло в деревне... Ишачили потихоньку люди на Маковку, причём, друг от дружки крадучись, она их помаленьку опаивала своим сладким молоком, что с маковым впримешку.

Ведь никто не знал-не ведал, что посреди хлебной полоски, которую засекала Маковка в лесу, скрывалась кулишка мака, из которого и добывалась коварная сладость. Главное-то, что никто не наущал этому Маковку, сама додумалась, то есть тёмный дух нашептал.

И вот проведал про Маковкину хитрость Василисы-Разумнисы сынок, синеглазый Василёк. Он давно полюбил Маковку, да и она на него поглядывала и диву давалась, что только он один и обходит её двор стороной.

К тому времени бабы в деревне уже просто сатадели от горя и обиды на Маковку. И задумали извести девку. Мать Василька всем в этой затее наставницей стала. Василёк захотел остеречь Маковку. Пришёл как-то вечером попозднее к дому её, вызвал на крыльцо. Она выслушала. Сказала, усмехнувшись:

– Испужал до смерти! Меня сколь лет так-то пугают. А убыло меня от этого? Убыло? Ну-тко, посмотри! – Маковка вправо-влево повернулась перед Васильком, чтобы он её стать разглядел хорошенько.

А он уж давно разглядел – чего ему себя сомущать. Стал, потупившись, Маковку уговаривать бросить

проделки с маковым молочком...Зачем, мол, тебе это – у тебя дом и так полная чаша, люди ведь и так всегда помогали охотно.

Маковка всё усмехалась:

– Належалась я в мокрых-то пелёнках, насосалась, голодная, кулака, наслушалась насмешек над моими родителями – что же, если такие они задались! Я в жизни от них худого слова ни о ком, ни о ком! – не слыхала... Обо всём и обо всех они с лаской да с тихой сказкой.

– Чо же ты-то такая, Маковка? Ты же зла-то ни от кого не видела: ни от батюшки, ни от матушки, ни от людей...

– Ой-иё! Исповедовать меня пришёл, Василёк? – над самым ухом горячим шёпотом спросила Маковка робкого соседа, и что-то зазяб он от её шепотка.

– Я любя к тебе пришёл, – задрожал он. – Я любя тебя, пришёл просить: прикажи, всех твоих приходящих работников один заменю. Всё, всё делать буду! У меня, ты знаешь, руки ко всякой работе ловкие да привычные!

– Да уж наслышана. Чо жо ты говоришь, любишь меня, а дом мой обегаешь? А нынче вот припожаловал. Может, молочка моего попробовать наконец решился?

– Нет-нет, – зачастил Василёк, даже уста ладонью прикрывши. – Мне и матушка наказывала всегда...

Маковку будто плетью жигануло:

– Ахтеньки! «Матушка»! Маменькин сынок до старости маменькиным умком живёт... Аль побоишься маменьки – ведь спросит... А туда жо – жанихацца пришёл! Мать твою Василисой-Разумнисой зовут, чо жо ты-то у ей такой малоумной? Так тебе налить молочка-то?... Изопьёшь?

– Изопью, – прошептал Василёк, и светлые слёзоньки – до краёв! – наполнили его синие-синие очи.

– Только с условием, Маковка, что оставишь в покое всех других, никого поить больше не будешь своей отравой.

– Да ты, мой маленькой, какая отравка! Ты только пригубь...Да войди в избу-то, ясноглазый. Через порог чо ли тебя угощать... Да не дрожи ты, сладенькое молочко – прямо как маменькино.

И взошёл Василёк в избу к Маковке – будто в омут бросился.

Хотя всё светло в ней было, красиво убрано и белые занавесочки на окнах ветерок ночной шевелил, будто шептал что, остерегая. И голубая белизна кружевного покрывала, и медовая желтизна выскобленных половиц, и нежная розоватость молока в обливном глиняном кувшине – всё смутным показалось Васильку. Но ведь он любил Маковку и пришел её спасти.

... Маковка, правда, перестала привечать кого ни попадя. А те, кто раньше до порога тропу проторили, стали от ворот поворот получать. Но находились такие настырные, двое особенно: Федот Осот да коробейник Репейник. Их в калитку не пускают, они через плетень ползут, их с плетня снимут, они в окошко ломаются.

Однажды, когда Маковка с Васильком в поле работали, разорили их семейное гнездо, растащили припасы. Старички чудом уцелели. «Всё из-за тебя, Василёк, – без злобы попеняла Маковка супругу, все беды с тебя начались... А и что за люди, никак не угодишь: то ненавидели за то, что поила их этим молочком, теперь убить готовы за то, что не даю... И правда, Василёк, давай-ко поставим на этом крест. Остатки прямо сейчас при тебе в отхожне место вылью и больше заводить не стану...Только людей в грех столько лет вводила».

– Это ты верно, Маковка, так хорошо придумала, моя золотая...– Василёк, словно кот, только что не мурлыкал, стал ластиться к супруге. – Тольке... это... Тольке разводи для меня одного маненько... Разводи! Самой махонькой кувшинчик...

– Чо-о? – не поверила ушам своим Маковка. – Повтори, чо ты сказал?!

– Чо-чо! – воспламенился вдруг всегда смиренный Василёк. – Ты сама-то хоть пила то, чем других угощала?

– А мне с детства больше квасок перепадал. Не была к молочку приучена, – засмеялась Маковка. – Грудное-то у матушки скоро пересохло, только недельку и покормила.

Как бы смеялась Маковка, а у самой вдруг сердце дрогнуло от страха. Василька-то она крепко любила. Но каждый день человека видючи, не скоро заметишь перемен в нём. А Василёк день ото дня таять стал, и работник вялый становился, и тем расстраивал хозяйство. К Маковке менялся так, что, казалось, совсем не Василёк, а какой-то незнакомый мужик в доме поселился. А ведь они поначалу-то мечтали ребёночка завести...

Стала жизнь для Маковки сплошным мучением. До того дошло, что Василёк, если Маковка отказывала ему в маковом молочке, не дрогнувшей рукой брался за вожжи.

Тут и ребёночек появился. Хиленький такой. Макосеюшка назвали.

Как-то оставила Маковка дитёнка с Васильком ненадолго, сама побежала к колодцу пелёнки отполоскать. Василёк к той поре вовсе перестал хозяйствовать, разве что часок ребёнка покараулит.

Возвратилась от колодца Маковка, влетела в дом, спрашивает:

– Ну, чо, не ревел он тут у тебя?

– Чо ему реветь? – ухмылялся Василёк, – влил в него пару ложек макового молочка – до вечера таперя храпеть будет!..

– Ах ты, окаянный! – Маковка в крик, и слёзы в три ручья, – ох ты, немочь бледная, чо же ты творишь?!

– А кто меня в немочь-то оборотил? Знашь ли, что цела деревня придурков по твоей милости народилася? – взнялся с вожжами на Маковку Василёк и до беспамятства отхлестал свою любезную.

«Ну, уж нет, – сказала себе Маковка, опомнившись, – сыночка я тебе не уступлю».

В эту же ночь достала из погреба и вылила в реку злокозненное молоко. Принесла из кладовки мешочек с маковым семенем и сожгла в печке. Сбегала на маковую кулишку в лес, выкосила под корень и утопила в болотце уже бывшие на бутонах растения. Всё, что посеял Василёк самолично для себя. К рассвету со всем управилась.

Утром Василёк, разлепив едва свои некогда ясные, а теперь белёсые, как молочные ополоски очи, востребовал молочка – понятно какого!

Маковка ему чистейшее козье парное подала.

– Холодного! С ледника дай! – рывкнул Василёк и плескнул молоком в лицо Маковке. Она промокнула лицо передником, потом сняла его и неспешно стала обсушивать руки. При этом супруга Васильку всё спокойным твёрдым голосом рассказала, что и как сотворила ночью для общего блага. Ради кровного сыночка Макосеюшки.

– Давай-кося, Василёк, мой любезной дружок, начнём нашу жизнь сызнава! – сказала Маковка и так посмотрела на Василька, что сообразил он всё же своим остатним умишком: возврата не будет.

– Змеишша подколодная, ты у меня щас не маковым цветом – синим пламенем запылаешь!..– зашёлся Василёк. Лицо его и белело, и багровело, почти почернело, наконец. И откуда сила взялась в утлом теле. Вепрем налетел на Маковку, оглушил, повалил, связал руки-ноги и бросил посередь горницы. Совсем одряхлевших Маковкиных родителей и сыночка-кровиночку «до кучи» снёс, свалил на Маковку и кое-как вожжами обмотал, – всё равно убежать не могут.

– Во, теперя ладно, – сказал. – И запалил домик со всех четырёх сторон.

Тут же на крыльце и сам свалился без памяти.

Так все и сгорели.

На пепелище на другую весну маков цвет и васильки зацвели.

Как иду теперь через поле и увижу, где вдруг маков цвет и василёк рядом, так и вспомню, что с ними в другой жизни было.



ОБ АВТОРЕ

Более двадцати лет работы в Тульской Православной классической гимназии Надежда Константиновна Тюленева вспоминает как бесконечно длящийся один-единственный счастливый день. «Это время – моя неизбывная радость», – говорит Надежда Константиновна, и хочется добавить, что и радость тех, кто все эти годы ее окружал. Она учила гимназистов журналистике, памятуя, что должна быть литературная журналистика, чтоб «юноша бледный со взором горящим» не превратился в заурядного борзописца. И они писали не одни информационные материалы, а сказки, стихи, эссе, дополняя их фотографиями и рисунками. Публикации на страницах гимназической газеты «Слово» до сих пор не утратили актуальности в части становления гимназиста как порядочного человека и сына своего Отечества.

Было начало 90-х, эпоха глобального дефицита. Стенную газету под редакцией Тюленевой приходилось делать на обратной стороне плакатов и афиш. Все номера до сих пор хранятся в гимназии, являясь одной из ее реликвий. А журнал «Вестник Тульской Православной классической гимназии» в те годы имел постоянную рубрику «Журнал в журнале», где воспитанники и – не исключено! – будущие коллеги журналиста Надежды Тюленевой творчески дебютировали. Стоит ли подчеркивать, что на всех материалах играл отсвет истинной православной веры, бес-

сребреничества, которые всегда были присущи Надежде Константиновне.

Недаром после её ухода из гимназии ввиду преклонного возраста обязанности Надежды Константиновны никто на себя так и не взял. Незаменимые, оказывается, есть.

Жизненный путь Н. К. Тюленевой будто специально складывался именно таким образом, чтобы в Православной гимназии у неё одинаково хорошо получалось всё.

Она – педагог, выпускница Курганского государственного педагогического института. Она профессиональный литератор – училась в Литературном институте имени Горького, семинар Григория Бакланова. И журналист тоже профессиональный: начала печататься в газетах Кургана с пятнадцати лет, а переехав в наш город, работала в газете «Молодой коммунар». Да так успешно, что скоро получила областную журналистскую премию имени Глеба Успенского вместе с младокоммунарцем Владимиром Чубаровым за главы коллективной повести «Дорога начиналась в Туле». А когда страна стала другой и открылись новые газеты, Н. К. Тюленеву пригласили на должность зав. отделом информации «Тулы вечерней». Тут она и проработала несколько лет, до перехода в областную газету «Позиция». В 1993 году за цикл статей о событиях в августе 1991-го была награждена медалью «Защитник свободной России».

В последующие годы некоторые тульские журналисты оставили профессиональную деятельность в светской прессе и посвятили себя работе в изданиях православной епархии (Ольга Подъемщикова, Татьяна Каркешкина, Наталья Мельникова, Ирина Извольская, Марина Горчакова). В их числе оказалась и Надежда Константиновна Тюленева.

Никакие встречи не бывают случайными. Жаждав-

шая веры душа её искала новых творческих возможностей. И нашла, благодаря встрече с отцом Львом Павловичем Махно.

«Впервые я увидела протоиерея Льва на переполненной народом площади возле тульского «белого дома» в дни августовских событий 1991 года. Он освещал российский флаг и говорил свое пастырское слово. Я была там как корреспондент газеты «Тула», – вспоминает Надежда Константиновна. – Могла ли подумать, что всего через три года, с мая 1994-го, вся последующая моя жизнь будет освещена и согрета главенствующим присутствием в ней этого Человека. Но импульсом было благословение моего духовного батюшки, протоиерея Ростислава Лозинского. Именно от него я узнала, что отец Лев создаст православную гимназию. Именно отец Ростислав, когда я попросила его благословения на монашеский постриг, сказал, что сейчас от меня другой подвиг требуется, в миру, на пути созидания православной жизни. «Вот идите к отцу Льву и послужите там, – напутствовал меня мой духовник. – Это не менее необходимо, чем мощение подходов к Щегловскому монастырю, где вы сейчас с сестрами трудитесь».

Надежда Константиновна не просто знала детей, как их знает каждый учитель, она чувствовала ребят изнутри. Недаром её первой книгой была повесть «Тайка» – о жизни зауральской деревушки в первые послевоенные годы, о дружбе двух девочек, которые одарены способностью видеть и открывать мир. Так что на новом поприще проблем с преподаванием прозы и журналистского ремесла возникнуть не могло по определению. Но и поэтом Тюленева была незаурядным: в 2010 году издала за свой счёт сто-страничную книжку стихов под заглавием «Приношение Льву». А уж какой она оказалась рассказчицей, выпускники гимназии по сию пору вспоминают с огромным удовольствием. Долгие годы, спеша на

службу, как на праздник, Надежда Тюленева вместе с детьми делала гимназическую газету «Слово», редактировала журнал «Вестник Тульской Православной классической гимназии», сотрудничала в «Тульских епархиальных ведомостях», выполняла обязанности пресс-секретаря гимназии – тем более в особых случаях, каковым являлся приезд Патриарха Московского и всея Руси.

Чтобы она ни писала, это были строки, пронизанные Божественной верой. За свои труды на ниве духовного образования и воспитания Надежда Тюленева удостоена одной из высоких наград Русской Православной Церкви – Ордена Святой равноапостольной княгини Ольги.

Екатерина КАРТАВЦЕВА,
«Годы и вехи», 2023 г.



СОДЕРЖАНИЕ	
ПРО КОЛОКОЛЬЧИК И АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ	4
ПРО СОЛОМОНОВУ ПЕЧАТЬ, АМАРИЛИСА И ДОЧКУ ИХ КУПЕНУ ...	12
ПРО ГОРОХОВО СЕМЕЙСТВО	27
ПРО ОБЛЕПИХУ	40
ПРО ЦЫГАНА	58
ПРО МАКОВКУ	79
Об авторе	91

Надежда Константиновна Тюленева
ЧОЛДОНСКИЕ СКАЗКИ

(Третье издание,
переработанное и дополненное)

Библиотека журнала
«КРЫЛЬЯ ДУШИ»

Дизайн и верстка

Д. И. Кузнецов

Корректор Л.Н. Кузнецова

Формат 60x84/₁₆. Гарнитура «Pragmatica».
Бумага офс.

ОРИГИНАЛ-МАКЕТ

**Все права на распространение и тиражирование
данного сборника принадлежат автору
и производятся только с его разрешения и согласия.**